

Николай КЛИМОНТОВИЧ

ДОРОГА В РИМ

Роман

Москва
Издательство «БПП»
2009

КЛИМОНТОВИЧ
Николай Юрьевич

ДОРОГА В РИМ

МОСКВА, Издательство «БПП», 2009. — с 288.

Если бы этот роман был издан в приснопамятную советскую эпоху, то автору несомненно был бы обеспечен успех не меньший, чем у Эдуарда Лимонова с его знаменитым «Это я — Эдичка». Сегодня же эротичностью и даже порнографией уже никого не удивишь. Тем не менее, данное произведение легко выбивается из ряда остро-сексуальных историй, и виной тому блистательное художественное исполнение, которое возвышает и автора, и содержание над низменными реалиями нашего бытия.

© КЛИМОНТОВИЧ Н.Ю., 2009

© Издательство «БПП», 2009

глава I

ОСТРОВ СВОБОДЫ

Здоровое отрочество: дворовый футбол, книжки про пиратов с картинками, мальчишечья возня на переменах и неотступное, как чесотка, желание проникнуть девочке под юбку и добраться до трусов, — стоило б вспоминать, когда б именно на этом последнем пути не начинались все одиссеи. Впрочем, помышлял ли я тогда об ее трусах, да и носила ли она их вовсе, ведь само наличие у нее трусов была лишь бескрылая гипотеза, взлелеянная небогатым опытом. Но даже если и допустить, что я мечтал о ней в каком-нибудь смутном сне, — что могло мне мерещиться: запах кокосового молока, заросли сахарного тростника, розовый песчаный покой в час отлива и резные силуэты пальм, а там и какой-нибудь барк, бросивший якорь в хорошо защищенной лагуне, — все не похоже на скромный северный ландшафт области трусов и области под трусами одноклассниц Тани, Ольги и Любы, мною довольно обстоятельно обследованный. Эти экспедиции по родным местам сопровождались, конечно, немалым волнением, но можно ли его сравнить с тем чувством, что вызывала во мне она, с чувством, заставлявшим бежать в обратную сторону и по лестнице прочь с нашего школьного этажа, едва ее фигурка рисовалась в прогале пыльного и обшарпанного коридора. Притом — я вовсе не был в нее влюблен, как бывал влюблен, скажем, в Татьяну или Ольгу, еще в десяток девочек — попеременно и одно-

временно; и красивой она мне не казалась, прямо скажем: тоща, на полголовы выше меня — а был я хоть и застенчивым, но рослым мальчиком, чернявенькая, с худым острым личиком, с очень темными маленькими глазками грызуна, и на год меня старше, что могло бы быть невероятным ее плюсом — учись она на год старше, в седьмом. Но училась она в нашем классе, что сводило на нет ее возрастное преимущество, хоть второгодницей, конечно, не была, но — кубинкой, я бы хотел думать — кварталонкой, ибо был я в те годы не только футболистом и ловеласом, но и прилежным читателем длинного Диккенса, томительного Доде, героического капитана Блада и восхитительного Майн Рида.

Родилась она еще при Батисте, об ужасах правления которого печаталось с продолжением в «Пионерской правде», была дочерью кубинского поверенного в делах, по-видимому — из бывшей аристократии, которую бесстрашный, но практичный Фидель привлек частично на свою сторону (так же, как усадил за баранку такси невероятно роскошных гаванских проституток, до революции обслуживавших американских туристов, поскольку, кроме минета, все, что умели они делать, — это управлять автомобилем). Русских она презирала — может быть, все русские казались ей коммунистами, что в те годы было недалеко от истины, — и презрение это сквозило и в холодности ее манер, если можно говорить о манерах тринадцатилетней девчонки, и в независимости взгляда, и в отчужденности, которая отбивала у наших учителей охоту чему-либо ее учить, и при всем ей удавалось оставаться незаметной, во всяком случае, девочки относились к ней с долей суеверного

отвращения, хотя и не без любопытства (как, скажем, к слишком разумной, но не злокозненной обезьяне), от чего-то вовсе не завидуя ни ее украшениям, ни ее вещам, — а мальчишки звали Читой и в общем не обращали внимания. На закате хрущевского времени в Москве было сколько угодно иностранцев, все больше смуглых, как она, а то и вовсе черных, у них выменивали жвачку на значки мои наиболее предприимчивые приятели, за что, бывало, подвергались недолгому аресту милицией или энтузиастами из студентов, членами оперативного отряда на Ленинских горах, на смотровой площадке, откуда и до сих пор хорошо виден наш вечно неуклюжий и разбросанный, чудовищно прелестный город.

За многие месяцы мы не обменялись с ней ни единым словом, но нет-нет я ловил на себе ее изучающий взгляд, очень прямой, а однажды был перепуган, когда на обычно сумрачном ее личике, едва наши взгляды пересеклись, показалась улыбка, лишенная игривости, смущения или призыва. Я и до того подглядывал за ней, и многое меня тяжко пленяло. Негласно ей было дозволено являться в школу не в форме, и по большей части на ней были узкие облегающие джинсы, которые, впрочем, в те годы выглядели лишь самой обыкновенной спортивной одеждой, но не символом и не фетишем; разумеется, она не носила пионерского галстука, поскольку формально советской пионеркой не была; ходила с ранцем, а не с портфелем, причем ранцем заграничного образца, но это ни на кого, кроме меня, не производило ни малейшего впечатления, у нас ранцы как раз тогда вышли из моды, их носили только перво-

классники, а мне чудилась за этим немалая независимость; наконец, в тех редких случаях, когда можно было услышать ее голос, меня томил и он сам, довольно низкий в сравнении с пицанием других одноклассниц, и ее акцент, и неправильный выговор, и почти полное отсутствие склонений, притом, что по-русски она говорила вполне сносно, если сравнивать с речью учившейся с нами венгерки, толстой и неряшливой хохотушки. Я тайком изучал ее походку — она передвигалась легко, не шаркая, не ступала всей ступней и не вихлялась, как некоторые из старших классов; у нее были очень розовые на смуглых руках ногти, всегда чистые и ровные, я догадывался, что она их что ни день подпиливает; в крошечных золотистых ушах в обеих прозрачных мочках серебряно посверкивали точки почти неприметных сережек, блестящие и прямые черные волосы всегда были гладко зачесаны и забраны узлом на затылке, а под тесной кофточкой виднелись комочки груди с бордовыми точками. Во всем она была иная, и уже это вызывало опасные двойственные чувства. Она была совершеннее всех вокруг, и меня самого, конечно, и любое сближение с ней потребовало бы ответного напряжения и совершенства.

Чем я мог ее поразить? Прыжками и воплями во время игры в футбол на переменах, огрызком пирожка с повидлом, прыжками, от которых сжимались сердечки Ольг и Татьян; дерзостью с классной руководительницей, она же учительница обществоведения, истеричной старой девой, норовившей что ни день вызывать моих родителей в школу. Тем, что с закрытыми глазами мог назвать полторы дюжины имен романистов и пол-

дюжины передвижников — она же не русичка Алевтина, горбоносая и с усами, которая вызывала меня во время уроков в учительскую под предлогом делания стенной газеты, гладила по волосам и рассказывала, кругля глаза, о летней своей любви к летчику-лейтенанту. Быть может, лишь однажды я мог бы сорвать ее аплодисменты, когда на пионерском собрании осуждалась моя манера носить пионерский галстук не на шее, но в кармане, — увы, на собрания она не ходила. Как можно было ее покорить? Заставить благодарно плакать, писать записки, дышать в трубку по телефону, навещать тайком мою маму, чтобы поговорить о моем дурном поведении и неприлежании; нельзя было даже подумать о том, чтобы заманить ее к себе в тусклый зимний денек, пока родители на работе, или на апрельский чердак с голубиной воркотней и обильным пометом, все норотившим прилипнуть к девчоночьему, перешитому из материнского пальтишку, или в майские возлеволейбольные кусты. И уж совсем невозможно было представить, чтоб в физкультурной раздевалке ее можно было лапать хором, как Любу, самую обильную и налитую в классе, настолько исходившую манящим соком, что даже самые плюгавые копошились у ее больших ляжек и сатиновых штанишек.

Продолжая соглядатайствовать, я начинал догадываться, какого мужественного отказа от дома, привычек и мирных радостей уютного и беззаботного бытия требует авантюризм, ибо даже случайное переглядывание с ней казалось мне авантюрой. Конечно, настоящий пират приказал бы ее, взятую на abordаж, отвести в свою каюту, где и гарантировал бы с великодушием джент-

льмена полную неприкосновенность, но для этого, во-первых, надо было повесить с дюжину непокорных на нее, а во-вторых, иметь хоть пару всегда заряженных пистолетов, не говоря уж о прочей экипировке. Но — не только отсутствие навыков в подавлении бунта и неважная амуниция делали флирт с ней неисполнимым, но осторожность, страх поражения, нежелание рисковать завоеванным в классе лидерством, ибо моя взволнованность ею, несмотря на известную тупость моих дружков в сердечных делах, грозила вот-вот выйти на поверхность. Впрочем, было и еще одно, — и женщины именно это признают в мужчинах за малодушие, — отдаленное предвкушение, что, кроме желания лазать по их трусам, девочки подчас могут вызвать неведомое, опасное и непреодолимое чувство в твоей душе, которое, говоря словами скандинавского автора воспаленно-выспренных романов, прочитанных мною позже, когда это со мной впервые уже случилось, склоняет до земли и голову короля.

Тем временем выяснялись и еще кое-какие подробности, отдалявшие ее в моих глазах и в вовсе недостижимую даль. Выяснилось, например, что она говорит и на иных, нежели русский, языках. Что ее родной язык испанский — умом было нетрудно понять, но как-то на уроке английского при заучивании нами форм неправильных глаголов на какой-то вопрос учительницы она вдруг быстро ответила ай дон'т лайк мандейс и тут же осеклась, поняв, что сболтнула лишнее и попалась, что прежде ее притворство и деланное прилежание такой же, якобы, как все, неофитки — разоблачены. Чуть позже выяснилось, что она играет в большой тен-

нис — кто-то встретил ее на улице с ракеткой, сенсацией это не стало, в иностранных фильмах часто играли в теннис, а потом целовались, как правило, богатые, а богатых хоть и не любили, но терпели как пережиток, тем более происходило это в кино, к тому ж — у нас в классе училась Мира Клемес, и она тоже играла, как и ее старшая сестра-спортсменка, и у нас в доме были и мячи, и ракетки; пару раз отец пытался пристроить меня к стенке, но мне было скучно впустую стучать мячом, не хватало видимой цели и духа соперничества. Словом, дело не в теннисе, а в том, что я мигом и с острым болезненным чувством, удивившим меня самого, представил себе всю ее, от головы до ног, стремительно метнувшуюся для приема низкой подачи, и видение это было столь грациозно, что я долго еще ходил под впечатлением образа, созданного в сущности лишь моим собственным воображением. Наконец, однажды я проходил мимо ее дома (дипдома, как говорили в нашем дворе, ибо наш дом стоял через улицу наискосок и был с виду близнецом — тот же кирпич, тот же восьмиэтажный параллелепипед времен хрущевского утилитаризма и борьбы с архитектурными излишествами), — я поравнялся с въездом в ее дипдвор, загляделся на милиционера, торчавшего в застекленной будке чуть в глубине улицы, и был потеснен тихо-тихо выезжавшим из ворот блестящим автомобилем с цветастым флажком на капоте. Она сидела на переднем сидении с окончательно неприступным видом, за рулем был, по видимому, шофер, потому что сзади, то ли в шелковой, то ли в бархатной глубине, виднелся смуглый господин с невероятными усами, но не такими длинными, как я

могу теперь припомнить, и не такими острыми, как на фотографиях Сальвадора Дали. Мне показалось — она меня не заметила. Автомобиль уехал, я даже не стал оборачиваться, но преисполнился такой невыносимо сладкой тоски по несбыточному, что этим же вечером подрался в кровь из-за пустяка с соседом, с которым до того мы играли в пластилиновых рыцарей. Рыцари были облеплены фольгой от шоколада, а рыцарские замки склеены из картона... На следующее утро в школе она сама подошла ко мне.

Она подошла и достала из ранца большую пеструю глянцевую пластинку, каких я до того никогда не видел (похожую мне привезет отец из Бельгии лишь двумя годами позже, когда его выпустят-таки на какую-то конференцию). Она протянула мне пластинку и спросила:

— Слушать?

От неожиданности я неточно понял ее, но на всякий случай кивнул.

— Ты слушать Билл Хеллей?

Но во второй раз ее вопрос прозвучал скорее повелительно. Я послушно взял пластинку, стараясь держать так, чтобы на конверте не оставалось следов от моих потных рук.

— Слушать! — повторила она приказ, отвернувшись и пошла по коридору, ранец неся не на спине, а держа за помочу и покачивая им над полом.

Проигрыватель у меня был, на нем проигрывались отечественного производства пластинки двух калибров, но оба меньше, чем размер этого диска, оказавшегося американским, то есть почти не имеющим разумной стоимости, — даже я это понимал, хоть ни тогда, ни

позже не был меломаном. Я слушал пластинки советских серий «Споемте, друзья» или «Шире круг», самой рискованной музыкой на них, как я помню, были твисты производства Арно Бабаджаняна, некое же подобие рок-н-ролла можно было извлечь из музыки к кинофильму «Человек-амфибия», тоже, разумеется, здешнего происхождения, где пелось так: «Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно», — что имитировало разгульную жизнь некоей гипотетической несоветской заграницы. Впрочем, кой у кого из моих дружков водились старшие братья и сестры, и у меня самого был кузен постарше меня, и, затесавшись к ним на вечеринку, можно было услышать записанные в Доме звукозаписи на Горького на рентгеновских пленках с изображением ребер «буги-вуги». Теперь же у меня в руках бы настоящий западный диск, знаменитый «Рок эраунд о'клок», который и тогда, и потом упорно переводили как «Рок вокруг часов», бессознательно используя русский омоним, — в том, что диск знаменит, я мог не сомневаться, не могло же от нее исходить что-нибудь второсортное. Едва заведя пластинку, я сразу же был покорен как бы небрежным голосом Билли, но прежде всего тем, что четкий ритм отбивался как по табуретке, ноги сами начинали ходить ходуном.

Я прокрутил диск и раз, и два, и три и попрыгал вокруг проигрывателя, торопясь выполнить ее поручение с тем, чтобы иметь возможность доложиться и, возможно, получить что-нибудь в награду, — я был не столь наивен, чтобы не понять — Билли был только поводом к более близкому знакомству, хотя и представить не мог — в чем, собственно, наше знакомство может

заключаться. От нетерпения в школу я опоздал, и, когда влетел в класс, она уже сидела за своей партой — в среднем ряду. На перемене я подошел к ней и молча протянул пластинку. Она смотрела на меня довольно равнодушно:

— Ты можешь танцевать это?

— Спасибо, что, а, это, могу, то есть нет, я рок не умею, — что-то в этом духе пробормотал я.

— Я учить тебя, — сказала она.

— Когда? — сообразил спросить я не медля.

— Сегодня можно, — сказала она после паузы, что-то раскинув в уме, — ты знаешь я живу?

— Я знаю, — отвечал я, вовсе не желая ее раздражать, а лишь волнуясь, что мы не до конца пойдем друг друга. — То есть не знаю.

— Я спохватился, что проговорился, но было поздно.

— Ты знаешь, — констатировала она. — Я ждешь четыре...

Как это — ждешь? Ведь даже если бы она и назвала мне номер своей квартиры, я все равно не смог бы проникнуть в дипдвор, милиция наверняка меня задержит. Никакие объяснения не помогут, ибо нельзя приставать к иностранцам, мне рассказывали дружки — любители жвачки и бартера. Меня задержит милиция и оформит привод, хотя у Летучева — три привода, и ничего, правда, он растет без отца и второгодник. Можно было бы попытаться не идти мимо милиционера в будке, а перелезть через забор в другом конце двора, но — я слышал, бывают такие штуки — там наверняка натянута какая-нибудь невидимая проволока, от прикосновения к

которой тебя шандарахнет насмерть, а в лучшем случае — завоет сирена, сбегутся милиционеры и отправят в колонию для несовершеннолетних, как неудачливого вора. Однако в половине четвертого я уже совершал обход ее двора по периметру, желая присмотреться получше к месту совершения будущего преступления, — так перебежчики наших рубежей, должно быть, тщетно искали слабые места в охране советских неприступных границ. Я дважды продефилировал мимо въезда в ее двор, стараясь не смотреть на милиционера, но тот в своей будке читал газету. За противоположным углом дома действительно начинался мощный бетонный забор в два моих роста, абсолютно гладкий, но никакой проволоки наверху, как я ни тужился, рассмотреть не удавалось. Я примерился: одолеть ограду не представит особого труда — дело техники, но вовремя сообразил, что будка с милиционером поставлена так, чтобы ему были видны все дворовые внутренности. Значит, надо бы точно знать место — где перелезть, чтобы использовать внутри хоть какое-нибудь прикрытие, иначе окажешься в мышеловке, и в таких размышлениях я брел вдоль забора по третьему кругу, когда увидел ее, прохаживающуюся по тротуару. Она махнула рукой, протянула ладонь, едва я подошел, цепко ухватила меня за рукав и потащила мимо милиционера, который мельком взглянул на нас — довольно равнодушно.

За криминальными приготовлениями как-то смазлось предвкушение свидания, а сейчас вместо радости видеть ее было смутное чувство унижения — в конце концов, она была моя одноклассница, а я не привык, чтобы девчонки вели меня за ручку туда, куда я сам не

могу пройти; но было и другое чувство — глуповатой гордости: видели б меня товарищи идущим туда, куда им ни за что не пройти; но был, конечно, и страх от сознания незаконности происходящего, и не было одного — вопроса: отчего, собственно, то, что я делаю, — незаконно?

Впрочем, я успел подивиться, что дипдвор не многим отличался от нашего двора — такие же чахлые, кой-как посаженные деревца, такой же растресканный асфальт, разве что дети в песочнице — черного цвета. Вот только в подъезде был другой запах, и стенки почему-то обложены кафелем, но металлический лифт дребезжал точно так же, и на его полированных стенках тоже было что-то процарапано. Чудеса начались уже на ее этаже, поскольку вместо четырех положенных дверей на лестничную площадку выходило только две. Она повела меня направо, звонить не пришлось, дверь открылась сама собой, перед нами стояла совершенно черная женщина в белом переднике и белой наколке, и меня смутил именно этот контраст сахарно накрахмаленной белизны и черноты ее физиономии, — она оскалила такие же сахарные зубы и, чуть поклонившись, сделала жест — проходите, мол, но моя провожатая не обратила на нее ни малейшего внимания, а повлекла за собой вдаль по коридору. По пути я мельком заметил (дверь в гостиную была отворена) довольно необыкновенную мебель, всю на блестящих никелированных ножках и с ярко-синими поверхностями: чтобы сидеть на таких стульях и есть за таким столом, должно быть, приходилось долго тренироваться.

Ее комната, впрочем, показалась мне довольно простой: полупрозрачные занавеси на окнах, книжки с латинскими буквами на корешках, лежавшие на тумбочке обложками вверх, тут и там какие-то вполне обычные мягкие девичьи вещицы, куклы и повсюду — соломенные салфетки. Она наконец выпустила мою руку и первым делом нажала кнопку проигрывателя. Но звук раздался из другого конца комнаты, что не могло меня не удивить — в единственном тогда нашем проигрывателе динамик находился непосредственно в крышке футляра.

В комнату вошла смуглая женщина, неуловимо похожая на того господина в машине, но без усов. Она смешно двигала лицом и шевелила беззвучно губами, улыбаясь и глядя на меня, и я понял: она извиняется, что не говорит по-русски. Она поставила на стол маленький поднос с двумя бутылочками и мисочкой, полной чищенных орехов, и с такими же немymi улыбками удалилась, все оборачиваясь ко мне.

— Кока, — сказала моя подружка все так же — полувопросительно-полуповелительно.

Я пожал плечами. Я никогда до этого не пил кока-колу, но хотел бы попробовать.

— Танцевать, — решила она, коки мне так и не дав.

Она потянула меня на середину комнаты, приговаривая: уан, ту, фри, уан, ту, фри... Сама она уже танцевала, теребя меня, и я попытался подражать ее движениям, преодолевая неловкость. Похоже, она развеселилась, глядя на мою неуклюжесть, музыка играла, стучали по табурету, хриплым голосом подбадривал меня Билл Хеллей. Наконец она рассмеялась и упала на узкий

диванчик, плеснула себе коки, жадно выпила, перестала смеяться, поставила стаканчик на место, глядя мне в глаза, и поманила меня рукой, подставляя губы: кисс!

Пожалуй, я не знал такого слова, но ткнулся губами в ее губы. На мой вкус — в ней было слишком много инициативы, но, с другой стороны, меня приятно удивило, что она не ломака. Едва я дотронулся губами до ее губ, выражение ее лица изменилось — она вся просветлела, улыбнулась нежно, я и не знал, что она умела так улыбаться, сняла кофточку, юбочку и сбросила сандалии, оставшись в одних трусиках. Наверняка у меня был самый нелепый вид, потому что я уставился на ее трусики, не в силах отвести глаз.

— Там нельзя, — произнесла она, перехватив мой взгляд, и для убедительности показала пальцем себе между ног.

Все, что происходило, было довольно диковинно, но, как ни странно, больше всего меня поразили именно ее трусы. Это было не виданное мною изделие — не тряпочное и будто из прозрачной человеческой кожи. Под ними было все видно, вплоть до родинки в выемке худенького бедра под самой косточкой, так гладко и намертво облегли они ее плоский животик, вот только между ног шла густая вышивка, похожая на пушистую траву в инее, и в этом месте ничего нельзя было разглядеть. Ее слова и ее жест я понял не в том смысле, что проникновение под трусы для меня запрещено, но — что такие трусы вообще снять невозможно, а если они и снимаются — то подобно гипсовой повязке, так срослись они с ее телом. В моей голове все перепуталось, и я решил, что, должно быть, у них, на Кубе, девушки но-

сят такие трусы для предосторожности, чтоб никто в них не лазил, и подивился столь тонкой предусмотрительности. Я сидел рядом с ней, почти голой, на диванчике, она изогнулась и потерлась своими бугорками о мой свитер. И в этом жесте мне тоже почудилось что-то экзотическое — я слышал, что на каких-то островах люди целуются носами. Она взяла мою руку и провела ею по своей щеке, потом по шее, потом положила на свои припухлости, и мне вдруг захотелось убрать руку, я почувствовал нечто похожее на брезгливость, как если бы меня заставили потрогать чужое воспаление. А когда она стала расстегивать мне рубашку, все приговаривая: кисс, кисс ми, я и вовсе стал отдергиваться и уклоняться. И тут произошло и вовсе невиданное: ее рука скользнула вниз и легла мне на ширинку. Ни одна девочка до того не клала мне руку туда, я был даже не смущен — покороблен, и мой покоробленный отросток тоже вел себя как щенок, не как пес, — щенок, не слушающийся знаков и не умеющий еще выполнять команды. Он был ватен, как Дед Мороз под елкой, как сопливый Дед Мороз, ибо из носа у него текло — от внутреннего чрезмерного волнения и перевозбуждения, — тек неведомо откуда взявшийся сладкий и липкий сок.

— Мальчик, — сказала она с прежней интонацией полувопроса и повторила убедительно, но без тени раздражения или разочарования, — ты есть мальчик. — И вышла из комнаты, едва касаясь пола легкими босыми ногами. Я, к своему ужасу, понял, что все это время дверь была не заперта, но полуприкрыта.

Она и оставила ее полуоткрытой. Я не успел сообщить, куда это она отправилась в таком виде, как по-

слышалось негромкое журчание, которое не спутать ни с чем. Тут-то я и испытал большую обиду: значит, ей не пришлось себя разбинтовывать! Ее трусики снимались легко и быстро — на нее саму запрет не распространялся... Гнев туманил мне голову, когда я шел вон из двора мимо милиционера. Пожалуй, если бы он окликнул меня — я ему надерзил бы, а ведь это было равно самоубийству. Меня посадили бы в колонию, но, пожалуй, в тот момент я бы и рад был пострадать за свою и общую свободу. Но милиционер даже не взглянул в мою сторону.

Да, тогда я был обижен не той рвущей душу обидой, что лелеет возможность извинений, прощения и примирения; это было то неизбежное и горчайшее чувство, которое гордецы называют разочарованием и которому не бывает прощения. А теперь, хоть больше мы не сказали ни слова, а осенью она исчезла из нашего класса, — теперь я, как ни странно, могу вспомнить ее руки, и прозрачные мочки, и, кажется, даже ее запах. Потому что я ничего не забыл. Я помню ту золотую эпоху, Фиделя на полотнищах и его бороду среднего между Марксом—Энгельсом размера, помню обгрызанную у основания красного мутного стекла пятиконечную звезду, которой увенчивали недавно реабилитированную рождественскую елку, помню лысую, как буёк, голову Хрущева из кадров тогдашней хроники, безмятежно покачивающуюся на черноморской волне накануне брежневского переворота... Бог мой, как много было хорошего: а напиток «Чудесница», а летка-енка, а первая и последняя забастовка, которую я возглавил (наш 4 «а» не взяли встречать прилетевшего из космоса Гагарина

на Ленинский проспект), а желтые толстые тома «Детской энциклопедии» с раскрашенными динозаврами на вкладках, а кухонный комбайн (ГДР), с помощью которого можно было давить сок даже из морковки. И первая бутылка «Трифешты» в подъезде, и индийские сигареты — коричневые, с золотым ободком, и колбаса «Краковская», и модные спортивные сумки бочонком на одной бретельке, и шаровары для турпохода, и песенка сорняков из мультфильма про кукурузу, и китайские кеды два мяча, и фильм «А если это любовь», и счастливый вкус вкрадчивой детской полусвободы, и отцовские норвежки, и дача на Сходне, и университетский бассейн, и тетрабочка от руки переписанных песен «Помню я девчонку с серыми глазами», и ананасы в середине апреля — как раз к дню рождения, и яблони на Марсе...

глава II

БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА

Продолжая в духе коммунистического ретро, не могу не привести здесь и другую историю, избавившую меня еще от одной из сладких иллюзий и случившуюся во второй половине шестидесятых, на закате девятого класса, весной, когда нам исполнилось по шестнадцать лет. Но прежде — лингвистическая загадка: слово бардак и глагол побардачить связаны ли корнем со старомодным бараться, старомодным потому, что в те годы мы уже пилились, харились и факались, но отнюдь еще

не терлись и не трахались? Да, называлось это именно так — устроить бардак, если есть свободный флэт и чьи-то перенсы (без «т», но и с английским «с» и с русским «ы») свалили на дачу. Устроить не вечеринку и не парти, что было бы много преснее, чем то, что под бардаком подразумевалось, хоть составляющие были те же: музыка, вино, девочки; все отличие было в качестве и количестве.

Вина для полноценного бардака заготавливалось очень много, благо, паршивое вино тогда было очень дешево, но разнообразно, хоть и называлось в большинстве случаев портвейном, что значилось на этикетках в постскриптуме, как обозначение жанра, да и в народе обозначалось по-разному: чмурдяк, бормотуха, краска, а то и просто винище — чтобы не путать с водярой, и к собственно портвейну, напитку заморскому, никакого отношения не имело, как шампанское — к вину из Шампани, а коньяк — к крепкому напитку из далекой французской провинции. Это была крепленая спиртом, приправленная сахаром дрянь, но можно припомнить ряд имен, звучно иллюстрировавших обширность интернациональной державы: украинское бело мицне — в народе биомицин, тюркские агдам и сахра, старославянский солнцедар, с азербайджанским акцентом карданахи и алабашлы, с армянским — айгешат с арешатом, молдавские фрага и гратиешты, арабскими цифрами 777 и 33, космополитические черные глаза, улыбки, лидии, а там и наши спотыкач и горный дубняк, фруктово-ягодное из средней полосы — в народе фруктово-выгодное, приторная Запеканка, нежная Вишенка, настойки — перцовая и колгановая, а также

нечто, называвшееся по-иноземному ликером, — абрикосовым, лимонным, мятным, клубничным, юбилейным, и даже бенедиктин, и даже шартрез — все приблизительно в одну цену между рублем и двумя пятьюдесятью. Боже, где теперь те золотые и загадочные дни, когда по столь сходной цене можно было приобрести бутылку ярко-зеленого содержимого, и отчего эта липкая ментоловая жидкость называлась — шартрезом? А ядовитая бурда на сахаре — портвейном? Не потому ли, что где-то кто-то в тогдашней нашей державе еще хранил в памяти эти поющие названия, и я помню, как однажды в Смоленской губернии в сельском магазине мы купили рюкзак бутылок из-за одного лишь чарующего имени — шато-де-экем. Это, конечно, был тот же портвейн, и чья же цепкая филологическая склонность удерживала многие годы эти восхитительные чужестранные звуки? Как сильна должна быть мечта припасть к чистым родникам страны святых чудес. И как неистребима потребность разнообразия жизни, как отзывчива душа на далекий, почти угасший зов, доносящийся неслышно из давно уже не нашего прошлого и чужой географии...

Под стать напиткам была и музыка, сплошь импортная, но под заграничной оберткой были очень немудреные звуки, битлзовский рок-н-ролл-о-мьюзик, их же мисс Лиззи, неприхотливая гоу-Джонни-гоу, неясные какие-то шизгары, и гиппи-шейк, и спири-гонсалес, и тюри-фури, — все записанное на отвратительного качества темно-коричневую толстую магнитную ленту, наматывавшуюся на круглые бобины, то и дело рвущуюся, ее склеивали при помощи ацетона или разбавителя ла-

ка для ногтей, и проигрывавшуюся на допотопных магнитофонах «Яуза» или «Комета», к сомнительным достоинствам которых можно было отнести переключатель скоростей, так что по выбору можно было писать на девять с половиной, а можно — на восемнадцать. Танцевали подо все это в тот год шейк, не предполагавший, разумеется, никаких специальных па, но лишь топтание, извивание, подергивание и подскок, и победителем становился тот, кто добивался наиболее убедительного дрожания всех членов.

Но эти два компонента бардака были подсобными для основной цели, и именно под стать девочкам подбирались и напитки, и мелодии. Сегодня мне и не видно таких, разве что в подмосковных электричках или в каком-нибудь баре в далекой провинции, но тогда ими были полны московские улицы, наших же пятнадцати лет, чаще всего учащиеся каких-нибудь ПТУ, восхитительно не похожие на наших чопорных одноклассниц, самые продвинутые из которых доросли до подобного времяпрепровождения, лишь посещая своих сокурсников в студенческих общежитиях несколько лет спустя. Этим девочек клеили, снимали, фаловали и кадрили где придется — в кино и на улице, в троллейбусе, летом — в парке и на пляже, зимой — в кафе-мороженом и на катке, и в нашем школьном кругу приличных еврейских мальчиков и интеллигентных русских подростков обозначались они кадры или герлы, реже — чувихи, но это пришло из предыдущей эпохи, в то время как уличные их названия были, конечно, и точнее и выразительнее, поскольку за каждым таился оттенок, делавшийся понятным лишь с опытом, которого мы не имели. Скажем,

телками их называли собирательно, но батоны должны были быть пухленькими и налитыми, крали обязаны были иметь станок; кошелки и мочалки — это как бы телки без особых свойств, в то время как марухи — тертые калачи, чмары — умеют за себя постоять, мокрощелки — вечные давалки, бескорыстные уличные солдатки любви, мартышки — при случае берущие и деньги, пришмандовки — любящие выпить за чужим столиком на халяву, а сыроежки — только оторвавшиеся из-под материнского присмотра малолетки, алчущие много знания и сомнительных приключений.

Изумительно постоянен был сценарий бардака, как если бы это был канон сельского праздника или мистический ритуал, но, к сожалению, подтекста он не имел, а преследовал лишь скромную цель незамысловатых плотских утех, как то: хлебания портвейна, блевания в углу, обжимания в танце, лазанья руками под девичью одежду и извержения семени — зачастую в собственные штаны. Сперва мужская часть собиралась в опустевшей квартире, для храбрости выпивалось по стакану, потом кто-то шел встречать кадров, — в строго выверенном количестве, по числу сабель в мужском подразделении, — у кассы кинотеатра или на остановке трамвая, оставшиеся гадали — придут ли, но вот раздавался звонок, девицы набивались в прихожую, топтались у вешалки, хихикая, толкались у зеркала в ванной, в комнату входили стайкой, никогда не порознь, устраивались на диване по-деревенски кучно, жеманно цедили портвейн, личики их краснели, самые бойкие, у кого еще с прошлого раза наметилась пара, отплясывали шизгару, кто-нибудь нет-нет да пускал матерком, свет

убирали, от сольных танцев переходили к притирке в попарных, когда девиц немилосердно мяли и щупали, кто-то уже сосался в углу, и так возникала вождеденная атмосфера пьяноватого угара и глуповатого ухарства, когда и случались те маленькие приключения, которые разнообразили праздник и ради которых, собственно, все и затевалось. То кто-нибудь, сделав риголетто в унитаза, так и засыпал на кафеле, свернувшись вокруг фаянса, как в утробе, то одна из расхристанных и патлатых девок спяну забывала свои трусы на кровати, и их обнародовала следующая пара, то у кого-то из девиц оказывалась менструация, и покрывало хозяйской кровати несло для замачивания в ванную, третья устроила товарке сцену ревности, четвертая же, забыв надеть кофточку, неожиданно впав в истерику, порывалась бежать, ревмя ревя, на улицу, и ее возвращали подружки. Все это потом долго обсуждалось — которая дала, и кто чпокнул подружку, хоть в прошлый раз обжимался с другой, кто строил целку, и вправда ли она — девочка, — до следующего бардака. Впрочем, во всех этих рассказах, консультациях и комментариях было больше бравады, соития случались нечасто и становились событием. В основном все телесное общение с дамами сводилось к относительно невинному петтингу, но как бы то ни было — неизменен был привкус авантюры, поскольку ни приглашение девиц с улицы, ни распивание вина в таких количествах не освещались в отредактированных либретто, преподносимых вернувшимся с дачи родителям, с недоумением откапывавшим в супружеской постели шпильки, обнаруживавшим на маминой гребенке крашенный перекистью волос, задним числом

не досчитывавшимся рюмок в серванте, маминой губной помады на трюмо, папиного сухого вина в холодильнике, дорогих бабушке книжек в книжном шкафу (книжки были сданы в букинистический как раз накануне мероприятия, чем и было заработано на вино).

Что говорить, в сущности, мы были комнатными книжными мальчиками, и наши криминальные склонности наиболее трепетными родителями мазохистски преувеличивались. По-видимому, нам не хватало какого-то витамина жизни, четвертого измерения в голом трехмерном мире, и ни книжки, ни спорт не могли его заменить. С тайной опаскою и напускной удалью мы стремились прикоснуться к иной, не гимназической жизни, но лишь заглядывали в законный мир, еще не догадываясь, что весьма скоро нам придется в нем жить. Именно уличные кадры становились таким окном, а значит, собственно эротики в наших бардаках никогда не было. Наши одноклассницы, в большинстве такие же комнатные, были взрослее нас, но мы видели лишь высокомерие, несносность умных речей и надменность чистюль, не догадывавшихся о нашей другой жизни. На деле — все обстояло наоборот, и к другой жизни готовились как раз самые строгие из них, а мы лишь тренировались в безответственности, наращивая панцирь инфантилизма, который и позволит потом нам выжить...

А теперь подумайте сами — откуда на одном из наших бардаков случилось оказаться — немкам. Да, это была целая ватага более или менее милостивых девочек, возникшая в порядке молодежного обмена с Германской Демократической Республикой, нашего воз-

раста, но поголовно, пошейно — в синих косыночках, как мы узнали — в пионерских галстуках, — может быть, пионерский возраст в тогдашнем ГДР продолжался вплоть до замужества, а может быть — это была бригада молоденьких пионервожатых на социалистической стажировке в Союзе? Так или иначе, однажды в мае они появились в нашей школе — как раз накануне предполагавшегося весьма веселым бардака, поскольку Сережина мама уехала в командировку, а бабушка намеревалась посетить свою подругу на даче в Петелино. Здесь придется снова чуть отступить, чтобы сказать, что Сережино семейство занимало тогда миниатюрную, но трехкомнатную квартирку, с двумя смежными помещениями и одним отдельным, что для нужд бардака было изумительно удобно, и заставленную тяжелой мебелью — единственным, что осталось от легендарного, как монархия, Сережиного дедушки-фабриканта. Дамская команда была еще не назначена, но деньги на вино припасены, известную опасность таила лишь переменчивость погоды, ибо какой-нибудь глупый дождик или идиотское падение ртутного столбика могло спугнуть старушенцию. Но погода была устойчиво майской, тут и там попахивало сиренью, бабушкины недомогания отступили, Сережа вел себя показательно хорошо, а я, по ее мнению, толкавший его ежедневно на пагубный путь растления тела и расстройства и без того неверного здоровья, временно стушевался.

Собственно, идея позвать немок пришла в голову именно мне. Идею эту никак не назовешь тривиальной. Согласитесь, одно дело уступчивые любительницы портвейна, свободного коммунального нрава, грубова-

тые обитательницы хрущевских черемушек или общежития ПТУ, совсем другое — в блузочках и цветных чулочках, неопределимого социального происхождения, с чистыми приветливыми лицами великовозрастные иностранные пионерки, приехавшие с неведомого Запада, который, конечно же, лишь числился социалистическим, — ведь европейками нашему поколению представлялись даже латышки с хуторов, эстонки-островитянки, говорящие с акцентом молдаванки, а уж дистанция от Эдиты Пьехи до Ива Монтана, конечно же, была много короче, чем, скажем, от нее же до Ларисы Мондрус. Вспоминая, думаю, где-то глубоко в наших тогдашних душах жила уверенность: не только в поведении, повышенной открытости и стремлении к улыбочивому контакту, что было налицо, но и в изгибах устроения иностранки таится что-то неведомое, отличающееся от местных образцов. Как юноше невозможно представить предмет своего обожания писающим или какающим, так и нам в ту пору совершенно нельзя было предположить, что, скажем, неземная немка, пусть и в синей пионерской косыночке, может хариться или даже факаться, но что-то же должно было у них замещать эти отправления, и, скорее всего, не случаен тогдашний наш школьный анекдот про марсиан, которые размножаются похлопыванием друг друга по плечу. Учитывая все это, можно заключить, что идея бардачить с немецкими пионерками, конечно же, была богохульной и цинической, как, впрочем, и любое исследовательское поползновение, сводящееся всегда, по сути дела, к преступлению за черту с последующим расчленением предмета изучения. Как у всех, кто стоит перед порогом

неведомого, мы испытывали робость, но шестнадцать лет — возраст дерзаний, и я подошел к той из немочек, что больше приглянулась, худенькой, в короткой юбчонке, смеявшейся с доброжелательным оскалом, с темными стриженными волосами и вполне взрослым женским лицом, и каким-то образом объяснил, что я и мои друзья приглашаем ее с подругами на вечеринку, где будет музыка, мюзик. Она с видимой радостью, с изъявлениями благодарности, в чем сказалось недоступное нам европейское воспитание, согласилась — и мы условились о времени.

Они на своем скомканном и невразумительном русском, мы — на юродивом английском кое-как разговаривали, хоть от портвейна они и отказались, но и мы были предусмотрительны — приготовили сухого вина и мороженого, но окончательно вся компания спелась, едва завели «Битлз». То, что мы слушаем ши из вумен, бэби ю кэн драйв май кар и кэн'т бай ми лав, повергло их в глубокое изумление. А их изумление, в свою очередь, преисполнило нас гордости, и мы с удовольствием строили из себя европейчиков, портвейн свой едва приглатывая, в танцах церемонились, гладили партнерш по спине, а разговоры вели все больше о литературе, причем ни русское имя Гёте, ни русское имя Гейне они вовсе не знали, и, лишь когда я догадался, показывая на Серезу, сказать, что это — наш Карл Моор, моя подруга вдруг закричала «йа-йа» и захлопала в ладоши, и вся ее команда закричала «йа», и их коллективная готовность к радости нас, культивировавших политическое фрондерство и известный индивидуализм, не могла не удивить. Ясное дело, Шиллеру их обучали в шко-

ле, так что в танце мы с подругой тесно прижались, подталкиваемые с одной стороны Шиллером, с другой — Ленноном с Маккартни. В своей партнерше я скоро заметил некоторую, скажем, толстокожесть, сближающую ее не с одноклассницами из профессорских семей, но скорее с нашими простыми подругами, хоть была она, конечно, не в пример последним покормленной, воспитанной, похоловшей, и несколькими годами позже я с уверенностью заключил бы, что передо мной — офицерская дочка, но в те годы я еще не ведал прелести генеральских дочерей и шика племянниц парработников и — главное — нескоро научился тому, что жизнь в широком мире отнюдь не сводится к повседневной реализации нехитрого набора российских литературных интеллигентских добродетелей.

На непьющих немочек и сухое действовало не хуже крепленого, и вот одна, покорооче других и позадастее, уже хохотала в танце в длинных Сережиных руках, другая в уголку, кажется, готовилась всплакнуть, третья пила с кем-то на брудершафт, еще несколько бодро подпрыгивали в кружочке. Мы же незаметно — айн, цвай, драй — прокружили в дальнюю комнату, как раз бабушкину, с резным диваном, украшенным короной, с книжной полкой, полной собранием Шолома-Алейхема, ввиду комплектности и обширности не унесенного в букинистический, с портретом бабушки в раме, внимательно за нами наблюдавшим. Здесь было узко, как в чулане, танцевать больше не пришлось, замирая, я прислонил немку к стене и осторожно поцеловал в щеку. Она осторожно поцеловала меня. Я обхватил, привлек, одновременно двумя руками сжимая ее ма-

ленькие тугие ягодицы под гладенькой юбчонкой, двумя другими уминая ее маленькую тугую грудь в слишком жестком бюстгальтере, но — она отчаянно встrepенулась, когда рука моя заскользила под подол и вверх, достигнув края чулок; она мычала, приседала, мотала головой, вырывалась, я же безумно твердил «ну, хорошо, хорошо, не буду», едва держась на дрожащих ногах. Она поверила, принялась опять целовать меня нежно, вздрагивая и сама, и я понимал, что с такой немислимо иностранной девчонкой ничего и не может случиться сразу, и когда она сказала с акцентом фразу, которую именно в такой инструментовке я слышал потом столько раз, «йа лю-б-люю те-бья», убедился, что буду ухаживать за ней верно и долго, и мы будем отличной парой, я буду писать ей нежные и сумасшедшие письма, а потом она раскроет передо мной окно в Европу, и мне распахнется огромный мир, я уж физически чувствовал на лице напор встречного ветра, как бывает только на самых крутых поворотах...

На следующий день они уехали в Ленинград — проводить их на вокзале было нечего и думать, делегация была официальная, их руководительница и так отпустила их вечером, лишь когда они назвали поименно — к кому в гости идут, с адресом и телефоном, — и я остался с ощущением того, что у меня началась нездешняя любовь, и с обещанием, что она мне из Берлина пришлет письмо.

Письма не было три недели, потом меня вызвали к завучу. Меня довольно часто к нему вызывали — то за курение в туалете, то за распивание портвейна за директорским гаражом, что было — ввиду неудобства —

чистым ухарством, но сегодня завуч был сам на себя не похож. Он сказал: «Садись», а сам встал — значит, дело обстояло весьма серьезно и, по-видимому, не только для меня, но и для него самого. Я сел на стул у стены, а он прошелся туда-обратно и дважды проверил — плотно ли закрыта дверь. Потом посмотрел на меня, и во взгляде его была тоска. Только в этот момент я заметил, как засален ворот его пиджака. Я успел подумать о многом: он подозревает меня в поджоге физкультурного зала, хотя утром, когда я шел в школу, зал был цел; он полагает, что я замешан в ограблении банка, о чем ему сообщили из милиции; наконец, на меня кто-то стукнул, что я читаю самиздат, — и это единственное из обвинений, которое было бы правдой. К моему изумлению, он заговорил о немках. Он рассказал мне, кто их зазвал на вечеринку, — это был я, о чем я ему и доложил, но он только отмахнулся. Он рассказал мне, что мы пили и подо что плясали. Он знал даже, что я приставал к одной из них, оказавшейся то ли вожатой, то ли старостой, и что Сережа советовал другой поставить вопрос о присоединении ГДР к Советскому Союзу на правах шестнадцатой республики, о чем не знал даже я. Он говорил крайне встревожено, путался, и мне не составило труда догадаться, что знает он это отнюдь не со слов кого-нибудь из моих товарищей, в каждом из которых я в те годы был уверен, как в самом себе. Такое волнение в нем, довольно злобном и закомплексованном мужичке, преподавателе химии, мог вызвать только сигнал, поступивший откуда-нибудь сверху. И я довольно скоро понял, что хочет он от меня одного — молчания.

— Зачем, зачем тебе это было надо, — несколько раз повторил он и вдруг сболтнул, — они же отчеты пишут.

Я плохо себе представлял эту механику, должно быть, каждая из пионерок отписывалась и отчитывалась перед руководительницей, та доносила в посольство, оттуда бумага шла в отдел образования, а потом спускалась в школу. Впрочем, траектория доноса меня не интересовала. Меня потрясло, что и там пишут.

Этот нехитрый факт поразил меня до такой степени потому, что являлся убедительнейшим доказательством — они такие же. Удивительное открытие: в сердце Европы, в Берлине и Будапеште, в Праге и Варшаве — все точно так же стучат и пишут, пишут, пишут. И если это так, то и все остальное без сомнения происходит у них — как у нас. Подобно любому другому на моем месте, я сожалел лишь, что не выеб ее тогда же.

— Зачем, зачем, — все твердил завуч, вытирая лоб, — тебе что, своих не хватает?

Это было его педагогическое поражение, раз из области нравственной его занесло в плоскость политическую. Тут уж я разгулялся. Я стал орать на него, что они же, наши учителя, учили нас бороться и дерзать, искать и не сдаваться. А как же тогда быть с Папаниным, гулял я по буфету, как быть с одноногим Мересьевым (безногим, устало поправил меня завуч), с перелетом Чкалова через Альпы, с Зиганшиным и его командой, с супругами Терешковыми, наконец?

— Не ерничай, не ерничай, — простонал завуч, — иди, свободен. — Он махнул на меня платком, как на осу.

Своих не хватает. Своих-то хватает, у нас такие женщины, что даже если их было бы в пять раз меньше — все равно хватило бы на всех. Вот кто ответит на первую половину вопроса — зачем? Неужели для того, чтобы убедиться, что перед тобой действительно иное существо, недостаточно присутствия дырочки на том месте, где у других людей — отросточек? Или иной цвет кожи, другой язык, чужое гражданство и не наши привычки возбуждают больше? А если это иное еще и запрещено... Но этого тогда я не мог объяснить не только нашему завучу, но и самому себе.

глава III

ЧЕШСКАЯ ВЕСНА

Впрочем, она понравилась бы мне и в случае, если б оказалась сербкой или болгаркой, — в ее славянском происхождении можно было не сомневаться, — хоть я и не люблю крупных, а она была моего роста, с тяжелыми бедрами, с сильными руками, ногами и плечами, с широкой костью, с далеко выступающей грудью, с высокой, хоть и довольно полной, шеей, и именно сверкающая ее шея над вырезом блузы, ослепительно обнаженная, прежде другого притягивала взгляд, разом давая впечатление обо всей ее роскошно цветущей плоти, о живом блеске кожи, о нежности груди, о жаркой щедрости промежй; ко всему у нее было очень яркое лицо, по-крестьянски толстые лакомые губы, густого блестящего меха брови, едва заметно соединенные редкой темной порослью, выпуклые и ясные карие глаза и рас-

пущенные длинной волной черные волосы, отдающие на просвет темной медью. Но поскольку чуть не в первую минуту я узнал, что она — чешка, то не просто захотел ее, что случилось бы на моем месте со всяким, но — мгновенно влюбился, говоря себе, что если бы чехам пришло на ум выбирать свою Марианну, то лучше этой восемнадцатилетней студентки исторического факультета им было бы не найти, — в тот год помраченной свободы мне представлялось, что чехам как никогда пригодился бы подобный символ.

Дело было ближе к весенней сессии, мы познакомились где-то на Ленинских горах, шли до дома рядом, благо, она была моей соседкой, жила в одном из корпусов университетского общежития для младшекурсников, а я — неподалеку, в профессорском доме, как называли его студенты, и после того августа прошел без малого год. До сих пор помню, как мы узнали о танках в Праге, и помню, что, как ни глуп я был в свои семнадцать, мигом почувствовал, что советская мышеловка захлопнулась, — в кругу, к которому принадлежала моя семья, на пражскую весну возлагались большие надежды, как потом, в августе восемьдесят первого — на польскую; поколению моих родителей, оболыщенному хрущевским либерализмом, казалось, что именно теплый ветер из Чехословакии задержит наступление холодов, сменивших межеумочную оттепель. Но помимо страха, помнится, было и облегчение — потом я это странное двойное чувство испытывал не раз, так бывает, когда наконец-то сбываются слишком томительные и худшие ожидания.

Весть принес транзистор, и застала она нас в палаточном походе на Оке, и при всей серьезности происшедшего было бы натяжкой утверждать, что тщательно выисканный из-под сигналов глушилки репортаж Би-Би-Си тут же рассеял наше легкомысленное счастье, ибо школа только что была оставлена, в университет и институты было поступлено, и поход был апогеем безоблачной юности, с которой мы тогда со всем энтузиазмом неведения прощались навсегда. Для меня дело раскрашивалось еще и тем, что наш роман с Танечкой из параллельного класса, тянувшийся весь десятый школьный год, уже прискучил мне, но не настолько, чтобы я вовсе потерял вкус к постоянным изъявлениям ее любви, делавшимся все страстнее по мере нашего отдаления, — ведь я рвался в широкий мир, и она не без оснований предчувствовала, что в нем не найдется места для нашей будто тренировочной юношеской любви. Короче, тем августом я был удачливым любовником, во мне бродила шальная юная сила, будущее рисовалось сплошной фиестой студенческой вольницы — впрочем, мои родители были того разряда, что уже не одолевали опекой, — и танки для нас всех оставались, конечно же, голой абстракцией, а реальностью — песни Высоцкого, которые мы горланили под гитару, девочки, сама наша до поры дружная компания, узы которой тогда представлялись романтически нерушимыми, а хватку государства ни один еще не испытал на своей шее. Так, должно быть, в юности встречают начало войны.

Однако в Москве, когда я остался один, этот первый укол разросся постепенно до тихой ноющей тоски и

неотступного гаденького предчувствия — собственно, это и есть основные ингредиенты страха, — что не пощадивший чешскую свободу молох рано или поздно доберется и до меня, и это было не столь уж невообразимой реальностью, четверо смельчаков, что вышли тогда на площадь, а потом отправились по этапу, косвенно мне были знакомы, в нешироком кругу столичной инакомыслящей интеллигенции все так или иначе знали друг друга. Не забыть приплюсовать и молодую нетерпимость к подлости, а чем, как не подлостью, мог я тогда назвать эту акцию наших правителей, ведь язык геополитики был нам тогда не знаком, а читали мы лишь Мандельштама с Пастернаком. И все вместе — тайный страх, либеральное горение, мелодия рукописного ахматовского «Реквиема», а пуще другого — подспудное чувство неизбежной неволи, тот темный вкус тюремно-ссылной тоски, который, похоже, есть в крови самого благополучного русского, — не могло не рождать сочувствия чехам, и хорошо помню, как тем же сентябрем состоялся какой-то матч между советской и чехословацкой командами, и я, ни единожды не бывший на стадионе, отчаянно болел и был счастлив чешской победой так, будто сам одолел коммунизм на баррикадах. После матча, дрожа, я выскочил во двор с нашим эрделем по кличке Урс, псом, свирепым на вид, но на деле трусоватым, и наткнулся на группу болельщиков из общежитий, рыскавших в потемках в поисках студентов-чехов, чтобы немедленно им отомстить. Что ж, если б чехи тогда сыскались, я б ни секунды не колебался и, как пограничник с Джульбарсом, встал бы в их, конечно же, ряды... Понятно, моя чешка со своей грубо-

ватой красотой тронула меня, и была это не одна обычная похоть, но невероятная нежность, питавшаяся комплексом вины за соотечественников, за то совдеповское быдло, что в банях, пивных, поездах и на завалинках, пьяно стуча себя в грудь, уверяло, что это именно оно сидело тогда в головном танке, и это самозабвенное кровожадное вранье на самом деле было в общем смысле чистой правдой. Впрочем, эта пышная и большегрудая чешка казалась старше своих лет, смотрелась молодой дамой, и было бы глупо ухаживать за ней на школьный манер, прогуливаться по парку, обниматься по лавочкам, в темном кинозале укромно пожимать ручку. Конечно же, как принято у них, в Европе, я должен был пригласить ее поужинать, и само ее согласие было бы хорошим сигналом, что надежды мои небезосновательны, а симпатии — разделены. На ресторан денег не было, к тому ж ресторан не сулил немедленного вознаграждения, и я выждал день, когда моих родителей не было дома, только бабушка в дальней комнате, относившаяся к такого рода моим действиям с полнейшим пониманием и свою комнату не покидавшая.

Готовился я к приему гостя так: свечи, салфетки, вино, кубинский ром, лимонный сок — на случай необходимости смешивания коктейля дайкири, — какие-то фрукты, но главное — цыплята табака под собственноручно приготовленным соусом, зажаренные мною под прессом, для чего использовались крышки от кастрюль с установленными на них под разными углами наклона банками, полными воды. Стол я накрыл в своей комнате, где предусмотрительно была приготовлена и по-

стель, прозрачно прикрытая коротким пледом, — мне и в голову не приходило тогда, сколь неприлична по отношению к даме такая заблаговременность. Это лишь с возрастом мы научаемся здоровому фатализму и относимся к неудачам с таким же скепсисом, как и к скорым победам.

Она позвонила в дверь точь-в-точь в ту секунду, когда я поставил перед собой часы, еще не остыв от кухонных хлопот: когда мы сговаривались, от предложения встретиться ее она с улыбкой отказалась — это же просто, сама найду. Она была принаряжена, и наряд этот я с легкостью могу сейчас восстановить в памяти: на ней была легкая светлая юбка, свободно мотававшаяся вокруг круглых больших колен, шелковая кофточка в тон — то и другое того розоватого сливочного оттенка, какого были позабытые нынче конфеты помадки, а поверх кофточки — черная бархатная безрукавка, расшитая красным с золотом в национальном стиле. Туфли были черного лака, а черные волосы забраны сзади черной крупной с позолотой заколкой; губы — крашены, глаза — подведены, — тогда их подводили жирно и с загибом, удлинняя разрез, она пахла незнакомыми мне духами и выглядела немисливо нарядно, свежо и недоступно — как раз так, как умеют выглядеть пользующиеся успехом женщины, уже придя на свидание, но еще не приняв решения. Однако я не разобрался тогда в подобных тонкостях, лишь со смирением понял, что полезть к ней, такой, с поцелуями столь же немисливо, как пристать к даме в шелках в фойе Большого театра; она была — произведением, ею можно было лишь любоваться, не дотрагиваясь, и то, что она оказалась в мо-

ей скромной комнате, нельзя было назвать иначе, как чудом. Как пошлы были мои цыплячьи приготовления, как убог стол, как несносна собственная суета, но — она положила на плед, как будто не заметив постеленной постели, свою черную сумочку и уселась в кресло, довольно неуклюже водрузив ногу на ногу. И попросила закурить. Я суетливо дал сигарету, поднес огня, и, куря, она лишь набирала дым в рот, но и это умиляло меня, и я — дабы скрыть свое восхищение — все суетился и заискивал. Она принимала мои ухаживания с легкой усмешкой, но сама ее удовлетворенность произведенным эффектом могла бы подсказать мне, что постаралась она отчасти и для меня.

К счастью, она жила в общежитии и аппетит имела превосходный, так что недолго жеманилась и налегла на цыплят, прихлебывая вино, — я же от волнения сразу же плеснул себе рому, — вскоре разругалась, пряди повыбились из-под заколки, помада размазалась, фольклорный жилет оказался на спине кресла, и под шелком стали хорошо видны ее могучие плечи, мощно вздыбленная, сдерживаемая бюстгальтером грудь, по крупным пальцам с большими ногтями в красном лаке тек куриный жир. Она смеялась моим шуткам, чуть закидывая голову, сжимая двумя руками цыпленка — подалеже от кофточки, — а потом наклонялась вперед и ловко его обглаживала, кости складывала на салфетку и внешней стороной руки украдкой вытирала рот. Перешли к десерту; я заметил, что под столом она сбросила туфли, и налил ей в рюмку рому, не разбавив его, и она опрокинула ее, закусив долькой почищенного мной апельсина.

По-русски она говорила, как мы с вами, даже акцент почти не был заметен, лишь иногда затруднялась в выборе подходящего слова, но, недолго думая, заменяла чешским, и это придавало речи тоже несколько фольклорный колорит. Постепенно она разболталась, рассказала — сколько чехов у нее в группе, и что живет в общежитии вдвоем с пожилой каргой двадцати одного года, немкой из ГДР — ох, не моя ли это, из предыдущей главы, знакомица, ибо мир еще теснее, чем мы любим о том говорить, — и что в Праге у ней есть младшая сестренка... Я отправился варить кофе в эспрессо — одном из диковинных тогда трофеев отцовского завоевания Европы, вернувшись, застал ее разбирающей пластинки — она стояла на паркете в одних чулках и казалась приземистой, как-то по-домашнему коренастой, что выглядело для меня неожиданно. Она не обернулась, и, вкладывая всю нежность в ты хочешь кофе, я обнял ее сзади и поцеловал где-то под ухом. Она засмеялась, легко высвободилась: поставь это, — и только тогда обернулась ко мне, мерцая чуть пьяными глазами, и протянула диск Адамо. Я завел музыку, зажег свечи, потушил свет, разлил кофе, подбавил рому, внутренне дрожа и предвкушая, по-своему истолковав своего рода интимный азарт в ее взгляде, она же, чуть распаренная, возбужденная, вдруг принялась горячо говорить о своем возлюбленном, оставленном в Праге, не опуская и интимных подробностей. Она уже дошла до того, что он заставил ее сделать аборт, а я все не мог справиться с разочарованием, не ведая, что есть особый тип глуповатых женщин, которые каждого следующего любовника используют, перед тем как улечься в по-

стель, в качестве психоаналитика. Она была занудно подробна, то зорко вглядываясь в меня и ища реакции, то уплывая в свое гинекологическое прошлое, и пару раз отводила жестом робкую попытку перебить ее или хоть сочувственно пожать пальцы. Это была своего рода песня, но у любого вдохновения бывает конец, она стала заметно иссякать, чуть даже понурилась, тут-то я и обхватил ее за плечи, она договаривала, что рада, рада была отправиться в Москву, и я, отчасти даже растроганный ее горестями, столь доверчиво мне поведенными, но и понимая, что оттяжка неминуема, что бестактно сразу же после таких излияний хватать женщину за грудь, целуя ее руки, решился выбросить свой главный козырь. Перебивая Адамо, я принялся жарко шептать, как виноваты мы все здесь перед ее родиной и что не все русские одинаковы, что есть те, кто отдавал приказы и сидел в танках, но есть и другие, другие... Тут я почувствовал, как натянулся шелк под моими трепещущими губами, как напряглась спина и отяжелели плечи; ушли ставшие жесткими руки, и, приглядевшись, я различил в полумраке, какой неприятный рисунок приняли ее только что столь сладко расползшиеся от рома и воспоминаний крупные губы. Она заговорила, и голос ее теперь звучал довольно грубо, даже вульгарно. Это было так неожиданно для меня, что я уловил только, что эти фашисты хотели расстрелять отца, что ее отец и вся семья были у этих фашистов в черных списках...

Боже, как мне не пришло это в голову раньше. Конечно же, кого могло новое правительство послать учиться в Москву после августа, да еще на идеологический исторический факультет? — только молодых лю-

дей с идеальными биографиями. Например, ее, мою несостоявшуюся подругу, дочку генерала чехословацкого КГБ.

К ее чести — она не донесла на меня, хоть знала, на каком я учусь факультете, и мое имя, разумеется. Более того, по-видимому, она скоро перестала на меня сердиться, думаю я, потому что однажды, увидев меня в ресторане гостиницы «Университетская», она, сидя в компании весьма состоятельного вида кавказских молодых людей, приветливо махнула рукой. А в другой раз, в интерклубе, куда иногда заходил и я, танцуя с кем-то, моя чешка послала мне из-за спины партнера шаловливый воздушный поцелуй.

глава IV

ТИХИЙ БЛЮЗ

Мы часто обсуждали этот вопрос, прикидывали и так и эдак, но предмет, как ни крути, лежал в области абстракций, хоть черных мы с Сережей встречали на студенческих танцульках, а однажды сдружились с угандийцем — он прежде Москвы учился в Сорбонне, он умел играть на саксофоне, он хотел, чтобы мы нашли ему русский дьевочка, — увы, сам он не мог или не хотел нас ни с кем знакомить, хотя мы предлагали обмен — одну русскую на двух негритяночек. Конечно, нам был известен печальный рассказ Леонида Андреева на африканскую тему, но мораль его казалась нам натянутой, мы извлекли лишь, что во всякое время даже самый скромный мужской экземпляр вожделеет к

самкам противоположной расы; иначе откуда было бы в мире столько мулатов. Оно, конечно, диамат, предмет сегодня непредусмотрительно забытый, а тогда принудительно изучавшийся нами, утверждал, что противоположности должны сходиться, но на рубеже шестого и седьмого десятилетий этого века в Москве где было найти достаточно убедительные нам противоположности? Помнится, мы даже заключили шутовое пари на бутылку болгарского бренди — кто первый переспит с негритянкой, но это мы ерничали и форсили, поддразнивая сами себя, ибо ситуация наша казалась нам вполне безнадежной, помнишь, Сережа?

Тем более несусветной была моя нечаянная удача.

Дело вышло проще некуда: мы шли с Сережей по мосту — от здания бывшего СЭВ к «Украине», а она шла навстречу, и я окликнул ее хау ду ю ду. — Хау ду ю ду, — откликнулась она, улыбаясь невероятной пастью, набитой будто слоновой костью. Тут же мы и подружились, подхватили ее под руки — показывать москоу вьюс, повлекли в «Метелицу», там — помимо того, что в туалете исправно торговали анашой, — подавали тогда зеленого оттенка горький итальянский вермут, предназначенный для коктейлей, за бесценок даже по тем временам, и мы пили вермут со льдом, болтали на моем полуанглийском, и я вдруг вспомнил длинную фразу ай вонт ту спэнд май лайф виз эа герл лайк ю — из какой-то модной песенки, самому мне такую было бы не поднять, — наклонился к ней и сообщил, и тут она улыбнулась мне так удивленно, так благодарно и нежно, что, по видимому, именно от этой точки следует отсчитывать время нашего мимолетного романа.

Помимо того, что она была черна, как ночь, отменно, образцово классически черна, в ней было невероятное свойство — она была непомерно и исчезающе узка — как ножка бокала, и любому, хоть чуть-чуть знакомому с анатомией человеческого тела, ни за что было бы не угадать, как могло в ней уместиться такое количество всевозможных органов. Она не была высокой, мне по плечо, но за счет своего неправдоподобного сложения казалась очень длинной, при том, что вовсе не казалась худой; это была не худоба, но дивно художественная игра природы, вырезавшей ее пропорционально из одного куска. Ни до, ни после я не видел такой миниатюрной талии, таких нежно обведенных удлинённых бедер, таких рук и щиколоток, ушей и шеи. Родом она была с Ямайки, но жила в Лондоне, а в Москву в качестве сопровождающей от какой-то туристической фирмы привезла кучку богатых английских старух.

Думаю, было ей года двадцать два, и по нашим меркам красивой ее было бы сложно назвать — настоящая негритянская рожица, какие рисовали в книжках для детей про их сверстников-папуасов: большие вывороченные, розовые с исподу губы, широкий приплюснутый нос и маленькие, темно-орехового цвета сияющие глазки под мелко-мелко вьющимися черными волосами, уложенными в то, что называют в Америке кукурузная грядка. Должно быть, в ней не было примеси, африканская кровь ее предков так и не вступила в реакцию с кровью индейской или испанской, но мне она разом заменила целое агентство Кука — Лондон звучал для нас тогда так же экзотически, как Ямайка.

Расставшись в «Метелице», мы уговорились встретиться с ней вечером, но уже вдвоем. Помню, я понесся домой — переодеваться и готовиться к первому в жизни свиданию с настоящей представительницей во всех отношениях иного племени, здесь тебе и Англия, и Карибское море, и Запад, и чернота кожи, и никакого намека на призрак социализма, бродивший неумолимо по сопредельным странам, как и по моей собственной, — вот только дело осложнялось тем, что передо мною во весь рост встала проблема: на что, собственно, гулять мою нежданную черную подружку. Говоря былым языком — средства мои были в расстройстве. Стипендии я по крайней нерадивости не получал, но жизнь вел разгульную, что ни день — торчал в кабаках, куда вино мы приносили с собою. Конечно, в основном это были деньги отца, но изредка приходилось отправляться на добычу, хотя ни к какому бизнесу я был решительно не способен. Сережа был незаурядно талантлив в коммерции, и, помнится, мы торговали перед магазином «Обувь» каким-то дешевым шмотьем, каковым нас снабжала хозяйка одного польского семейства, причем навар подчас достигал трехсот процентов. Бывали и другие авантюры. Как раз той весной мы подрядились в составе студенческой бригады бетонировать какой-то подвал недостроенного дома в Чертаново, это была тяжелая и препротивная работенка, но зато по окончании деньги легли на бочку. И поскольку я был постоянным членом бригады, а Сережа бетонировал раз от разу, то причитающуюся ему долю выдали на руки мне, и эти самые деньги, почему-то Сереже еще не отданные, я

цапнул тогда в возбуждении от постигшего меня приключения.

Впрочем, в то же лето был у меня роман с дамой двадцати пяти лет, звали ее Людочка Ш., специальность которой не назвать русским словом, скажем — гетера, а я при ней состоял, говоря языком Казановы, чичисбеем, и, вполне возможно, Сережа, часть твоего тогдашнего гонорара пошла на какие-нибудь пустяки, цветы или конфеты для Людочки, и я вспоминаю это, Сережа, с чувством вины, помня себя твоим должником, — да, на конфеты или цветы, потому что наши с ней ресторанные вояжи, конечно же, оплачивал не я, но ее соискатели, будь то французские бизнесмены, знаменитые хоккеисты или попросту мафиози, и всем я бывал представлен как кузен и должен был весь вечер вести себя приятно-незаметно с тем, чтобы в нужный момент ловко улепетнуть вместе с Людочкой черным ходом из «Берлина» или «Звездного неба» или, распрощавшись в два часа ночи с ее поклонниками, пойти в противоположном направлении, завернуть за угол, а затем быстрой тенью заскользнуть обратно в подъезд, в квартиру и в ее постель, а там перемигиваться с нею, прикладывая палец к губам, пока самоуверенный француз запоздало звонил в глухо молчащую дверь. Она была очень хороша, одна из самых красивых женщин, каких я когда-либо знал, к тому ж — дерзка до отчаянности, то, что теперь у нас назвали бы крутая и что американцы обозначают тафф. Я многому у нее научился, хотя она и третиговала мою неотступную мечту о загранице как о земном рае, к европейцам относясь небрежно и даже высокомерно: ее отец был каким-то кагэбэшным внеш-

неторговым работником, и она обладала заграничным лоском, нерусской отчетливостью мышления, собранностью и самоответственностью, при полном равнодушии, увы, к литературе, о которой я все норовил с нею беседовать, порываясь даже зачитывать вслух какие-то свои в этой области опыты, но — оставим все это в скобках...

Забавно вспомнить, каков был шик того времени. Скажем, я по парадным случаям бывал одет так: темные вельветовые штаны, зеленые носки, светлые, искусственной замши полуботинки с бахромой, такая же коричневая куртка, но изюминкой наряда являлась рубашка — черного ситца в мелкий желтый цветок, с огромными отворотами высокого стоячего воротника, застегивавшимися на пуговицы, расположенные далеко по ключицам. Стиль был вполне урловый, а если учесть, что волосы я тогда носил почти до плеч, то, понятно, в целом мой облик вполне мог отвечать самому взыскательному негритянскому вкусу. Свою черную девочку в тот вечер я повел в дорогое кафе «Адриатика», и по сей день функционирующее где-то в Староконюшенном, место, в те годы модное у прикинутой молодежи, хоть и подозреваю, что это слово вошло в обиход несколько позже, — здесь почти не бывало проституток, здесь пристойно обслуживали, подавали паштет в тарталетках, коктейли и холодное шампанское. Мы сидели на мягком закругленном диванчике в неглубокой нише, пили брют и болтали очень живо — ее английский дивным образом напоминал тот, которому нас здесь учили. Я спросил, бывала ли она на концертах «Роллинг стон», мне казалось, живя в Лондоне, это так же естест-

венно, как в Одессе купаться в море. Оказалось, на концертах роллингов она не была, но мы тут же шепотом и хором спели с ней ай кэн гэт ноу сатисфэкшн, и тогда она спросила, был ли я там, где лежит этот мертвый лидер, и была поражена, в свою очередь, что случаются русские, которые ни разу не были в мавзолее. Я тут же с готовностью ударился в антикоммунистическую проповедь, и она заметила, что она тоже не коммунист, и последнее мне показалось странным — столь очевидным мне представлялось, что такая девушка и не могла бы оказаться коммунистом, раз родилась на Ямайке, а живет в Лондоне. Впрочем, я тут же поделился с ней, что не состою даже в союзе молодых коммунистов, который называется ком-со-мол, но на нее это не произвело должного впечатления, она и не подозревала, что в нашем с нею возрасте в этой стране все поголовно должны были состоять в этой организации, хоть и повторила старательно коум-соу-моул, и вскоре мы уже целовались, причем она, набирая в рот шампанского, заливала его в мои губы, и, признаюсь, это было непривычно, но чрезвычайно приятно, хоть шампанское выходило несколько подогретым, и чуждость ее расы несколько не смущала меня. Пожалуй, в нашем поведении был вызов — может быть, в лондонских барах так себя и ведут, заливая друг другу брют из губ в губы, но в Москве в те годы это было все-таки известной экстравагантностью, хоть по соседству и предпочитали делать вид, что ничего не замечают. Конечно, целуясь с черной девочкой посреди советской державы, я испытывал некоторый прилив вполне героического энтузиазма, который охватывает нас при решимости отстоять свою свободу, — ее

лондонская прописка плюсовалась с цветом ее кожи, а мне ли было не знать, что первое может привлечь острое внимание правоприменяющих органов, тогда как второе может возмутить нашу вполне расистски настроенную общественность, — я ведь знал отношение соотечественников к русским блядям, когда они садятся в такси с этими черножопыми, с этими негативами и угольками. Чувство опасности, как мы знаем, лишь умножает сексуальное возбуждение, но все же, когда она залезла глубоко мне в рот своим тонким вертлявым языком, я понял, что наступает атэншн, как предпочитали тогда говорить в центре вместо блатного и привычного атас. Мы прихватили с собою бутылку шампанского и взяли такси, я повез ее на Ленинские горы — показывать очередной вид, прикидывая, что в наступившей темноте все кошки серы и что в парке мы без помех сможем предаться нашим африканским ласкам.

Осмотру города было посвящено минуты три. Придерживая ее, я повлекся вниз по крутой тропке и на смутно освещенной луной и далекими фонарями полянке — относительно горизонтальной, — отступив в тень кустов, я обнял ее, и ответом мне были столь сладкие нежности, каковым я до тех пор никогда не подвергался и каковые вообще в дефиците в наше торопливое и подмороженное время. Я расстегнул ее кофточку, ласкал прелестную маленькую грудь с довольно крупными и очень твердыми, тугой резины, сосками, и она изгибала свое узкое хрупкое тело, будто танцую танец. В свою очередь она расстегнула мою рубашку, лизала мою кожу жарким языком, а бедра ее ходили взад-вперед. Здесь было так укромно, все так располагало к

немедленной близости, вот только как на грех меня держало в плену одно обстоятельство — я только что закончил курс бициллина, лечась от триппера, который подхватил у какой-то девицы из той же «Метелицы». Наверное, я уже не мог бы заразить ее, но провокации еще не было, к тому ж — я дал подписку, которую взял у меня мрачный доктор с бородой Вельзевула и в очень сильных очках, отчего его еврейские очи за толстыми линзами выглядели просто чудовищно. Помнится, среди команд убери кожу, покажи головку, жми от корня он сердито приговаривал: «Ты же студент, тебе головой, а не хуем работать надо», — но после осмотра виновницы задумчиво заметил: «Что ж, я тебя понимаю...»

Я ошупал и огладил ее всю, испещрил ее черную кожу тысячью поцелуев, вжимал в себя, сдавливал обеими руками ее попку под расстегнутыми брючками, пах горел, но запрет был сильнее желания, и, когда мы карабкались тою же тропинкой вверх, она, быть может, обдумывала загадку славянской души, ей чудилось, что нет ничего прекраснее, чем эта русская нежность и таинственная половая деликатность, хотя сигнал к отступлению подала сама, сказала, что ее леди могут рассердиться, если им что-нибудь понадобится, а ее нет.

Объятия, поцелуи, ласки — все повторилось на заднем сидении такси, хоть я, не глядя, чувствовал, сколь это раздражает водителя. Страстно обнимала она меня и на ступеньках «Украины», забирала своим пышущим ртом мои губы, прихватывая, кажется, щеки, но уж здесь-то не нужны были медиумические способности, чтоб знать, как пристально следят за нами десятки топтунов и наблюдателей, которых всегда пруд пруди у ин-

туристовских гостиниц. Я пытался отклонить ее непомерные нежности, но, быть может, она и это принимала за застенчивость, потому что была впервые в Москве и, конечно же, не представляла себе наших порядков. Она попросила у меня адрес, и я, злясь на советскую власть и на себя, объяснил ей, что для меня опасно получать ее письма — даже корреспонденция отца, исключительно научная, должна была идти строго через его кафедру. Тогда она спросила: «Ну, а если ты приедешь в Лондон — ты позвонишь?» — И протянула визитную карточку.

Что мне было ответить? То и дело прикладывая пальцы к губам, а потом протягивая руку ко мне, отпечатывая на моем лице многие воздушные поцелуи, пятясь, она вошла наконец в гостиничный вход, и створки вращающихся дверей поглотили ее. Я повторил ее последнюю фразу: ай'л вайт ё лэттер... И карточку ее долго хранил. Ее звали Элизабет Смит. Я так ей и не написал. И не только потому, что письма без обратного адреса просто не уходили из страны, а письма с обратным адресом равносильны были самодоносу. Дело не только в этом. В сущности, мне было нечего написать этой черной девочке, с которой — я твердо знал это — мне никогда не придется свидеться. Что было написать: что от триппера я уже вылечился; что по-прежнему желаю ее и помню ее поцелуи; что я вонт ту спенд май лав виз э герл лайф ю, но вот только живу в стране, где люди не выбирают свои маршруты и даже внутри границ направление их движения сплошь и рядом намечают другие; и что мне никогда не попасть в Лондон, потому что

я не в коум-соу-моул, а также потому, что не бываю в мавзолее.

глава V

ДЖАПАН

Хронику сладкой блатной жизни можно было бы писать посезонно, причем всякому времени года соответствовало бы имя кабака, где на тот момент предпочитали отдыхать фарцовщики, проститутки и каталы — молодость, так сказать, криминального мира, — потому что отцы семейств предпочитали Сандуны по понедельникам, загородные сауны, обеды в кабинетах «Узбекистана» или «Берлина», — вот примерные вехи: «Золотой колос» на ВДНХ, кооперативный ресторан в Тарасовке, неприметная стекляшка в Измайловском парке, мотель на Можайке, «Русь», «Изба», «Иверия», «Русская сказка», другой мотель — «Солнечный», ресторан гостиницы «Союз», — и если вы знакомы со столичной кабацкой географией, то поймете, что переменчивая якобы мода отнюдь не стихийна; последовательно она выбирала эти точки подальше от Центра, от глаз непосвященной публики и правоприменяющих органов. Маленький зал при огромном ресторане гостиницы «Дружба» на Вернадского, куда меня однажды позвал Витольд, не был в этом смысле исключением, по времени его надо расположить где-нибудь между Измайлово и мотелем «Можайский», — но сперва о Витольде, одна из девиц с Калининского, из системы, как тогда говорили, меня с ним и познакомила.

У него была весьма распространенная в криминальном мире кличка — Монгол, хоть ничего монголоидного в нем не было, причем так же назывался знаменитый в те годы вор в законе, наставник самого Япончика, так что Витя — так его звали в миру — по центру проходил как Витольд, предпочитал в лучшие свои минуты представляться — Витольд фон Герних, такой у него был блатной шик, такая тяга к красивому, хоть это именно он выдал мне как-то не без иронии фразу о том, как на зоне рисуют себе свободу, — чтобы бикса попышнее, чтоб пиджак кожаный и суп с лимоном. Сам он в законе, конечно, не был, но из своих тридцати половину провел по тюрьмам, стартовав в колонии лет в пятнадцать, и антракты между ходками у него были кратки, но — вдохновенны. Впрочем, когда мы были друг другу представлены — он, рецидивист, сидевший за квартирные кражи, грабеж и рэкет, и я, профессорский сынок и начинающий журналист, — как раз тогда Витольд всерьез, кажется, решил завязать, но, скажу сразу, это его намерение было одним из тех, что вымостили для него дорогу прямо в ад. Дело здесь не в недостаточной прочности характера или силе воли, как вы понимаете, — Витольд был как раз весьма духовитый, но однажды отпущенный на волю его волчий инстинкт, давно превратившийся в сумму звериных рефлексов, никогда не отпустил бы его, и он кончил плохо — был убит в камере следственного изолятора внутренней Бутырской тюрьмы; в один из загулов в фойе мотеля, где тогда был единственный, если не считать валютных, ночной ресторан, он повстречал свою бывшую маруху и снял с ее пальца бриллиантовое кольцо, подарок — о

чем он не мог знать, а она ему не сказала, да это б только подлило масла в огонь — ее нынешнего любовника — авторитета, за что Витольд был прострелен двумя пулями тут же, в холле, забран МУРом, подлечен в тюремной больнице, чтобы быть зарезанным сокамерниками, получившими, видно, на то указание с воли.

Но это было потом; в то лето Витольд работал в каких-то художественных мастерских в Боровске, километрах в девяноста от Москвы, — в столицу его, разумеется, не прописывали к нестарой еще матери, до странности пристойного вида женщине, — он был не без способностей, не без своеобразного художественного чутья и вкуса, и на выходные он наезжал в Москву, где ждала его подруга, а моя приятельница по «Метелице» — Танька-Барабан.

Была Танька на редкость тоща, фамилия ее была то ли Бородина, то ли Баранова, не Барабанова, и кличка, видно, была дана ей от противного, как сказал бы логик. У нее это была настоящая любовь, она прождала Витольда всю его последнюю отсидку, а когда он откинулся — ездила встречать из зоны, и в предыдущее его появление в Москве я его мельком видел, запомнил длинное кожаное пальто, звериную гибкость и чуткость повадки, волчье узкое лицо в шрамах с длинным и мясистым, чуть свернутым набок носом, с маленькими цепкими глазами весьма редкого цвета — бурого, такой можно получить, если в воде долго мыть испачканную коричневой акварелью кисточку. Танька не была проституткой в нынешнем смысле, хотя, говоря сегодняшним языком, путанила, конечно, с товарками время от времени. Да и вообще вся тогдашняя центровая систе-

ма была не в пример современной малопрофессиональна, проституция, фарцовка, торговля анашой — все было неорганизовано и стихийно, сферы влияния не поделены, не отрепетирован раз и навсегда подкуп ментов, не обложены регулярной данью даже самые сладкие точки, и в этом смысле все напоминало сегодняшнее состояние официальной экономики, тогда как черный бизнес, напротив, подобрался и налачился; да это и не был бизнес тогда, скорее, стихийно сложившийся образ жизни, при котором грань между рабочим временем и досугом у проституток, скажем, была очень размыта, и вся система представляла собою не набор пусть и находящихся в сложных отношениях, но строго организованных группировок, а скорее, что-то вроде патриархальной общины с чертами социалистического фаланстера, но со своей, весьма романтической, идеологией братства, противостояния властям и раблезианским отношением к низу жизни, включая сюда всяческие огорчения телесного свойства; да и сама публика, систему составлявшая, за вычетом немногих действительных мастеров, была по-своему простодушна и на изумление пестра: спившиеся актеры и списанные танцовщики, вдохновенные бляди, денег не бравшие, но спавшие с кем понравится, то есть на круг со всеми, зеленки, отдававшие иностранцам не столько за гринны, сколько за тряпки, и имевшие за спиной не сутенера-профессионала, а молоденького любовника, зачастую кавказской принадлежности, который, впрочем, рубил капусту, перепродавая ей же заработанные носильные вещи, добродушные — в отличие от нынешних, весьма агрессивных — педерасты, чьи-то опустившиеся дети,

неслучившиеся певички, мелкие спекулянтки, натурщицы, работавшие, конечно, только время от времени, неудачливые художники, просто праздные молодые люди вроде меня, с удовольствием разделявшего все наивные радости этих прожигателей жизни и в глубине души оправдывавшего себя тем, что мне это когда-нибудь пригодится. Сегодня в памяти из этой толпы выплывают лишь немногие лица — уличной проститутки по кличке Луна, спавшей с кем придется в подворотне за стакан, когда подпирало похмелье, но по трезвости невероятно высокомерного выражения круглого, откуда и прозвище, лица, высокой и сутулой, — она заболела сифилисом, спилась и нынче вряд ли живет на свете; бывшей детдомовки Аньки по кличке, конечно же, Пулеметчица, что шло ей, ртутной, очень смазливой малышке, трогательно любившей театр и спавшей с актерами бесплатно; сочинской наводчицы Лиды Ш., девки невероятной красоты и еще более необычной внутренней силы, и если б было место, я вспомнил бы нашу с ней недолгую любовь на почве моей идеи записать ее мемуары; трагического пьяницы Геннадия, обаятельного и рассудительного человека лет под сорок, но с седеющей бородой, неудавшегося театрального режиссера, никогда не суетившегося, ни за кем не ухаживающего, но, когда выпьет свое, всегда уходившего с самой молоденькой и симпатичной; а там и целого выводка смазливых юнцов — вроде Внучка, родители которого были за границей и оставили ему квартиру тут же, на Калининском, над «Ивушкой», за что его все любили, поили и баловали, а Луна наградила-таки сифоном, или сколовшегося уже к двадцати трем Юрочки, сына ак-

трисы кукольного театра, когда-то снимавшейся и в кино, с которым по прихоти судьбы я был некогда в одном пионерском лагере. Мы с ним приятельствовали, сбегали на пару в лес и сидели у костра, но он мне не был интересен, я ждал воскресного появления его мамы, всегда на автомобиле и с новым мужчиной, ослепительной мамы, в которую я тогда был изнурительно и скорбно влюблен...

Представление состоялось так: мои родители отбыли на летний отдых, и я остался один (бабушка моя к тому времени уже умерла) — блаженствовать в большой квартире, как позвонила Танька и, уяснив обстановку, сказала, что заглянет с приятелем. О времени мы точно не сговаривались, я выходил куда-то и был очень удивлен задыхающемуся от волнения ее голосу в трубке — где же ты! Они были у меня через четверть часа, мы с Витольдом пожали друг другу руки, и я был порадован франтоватостью его костюма, скромным достоинством манер, умеренностью в потреблении алкоголя и уж вовсе подкуплен чинным разговором за ужином — о литературе, и только после Танька рассказала мне, что они звонили несколько раз, и Витольд сказал, что бодяга ему надоела и что эту квартиру, он, пожалуй, сожжет. Он и сжег бы, убежденно заверила меня Танька.

Они остались ночевать, но утро пошло уж не так фасонисто: проснувшись и выйдя на кухню, я застал Витольда в одних трусах, — тело его было густо покрыто свинцово-трупной татуировкой, как чешуей хвост русалки; Танька сидела здесь же, с голыми тощими ногами, стягивала зябкими ручками на плоской своей груди порванную до пояса нейлоновую комбинацию, и каждой

жилкой и складочкой похожей на мордочку грызуна — белки или бурундука — мордашки следила за всяким движением своего повелителя; Витольд хлебал прямо из кастрюли оставленный мне матерью суп, запивал водкой, взятой в моем холодильнике, и кивнул мне вполне дружески, указывая ложкой, — мол, присаживайся, и даже чуть двинул от себя на середину стола кастрюлю, напоминая ему, должно быть, котелок на дальнем участке лесоповала. Таньке ни водки, ни супа не полагалось, даром что Барабан, впрочем, замечу, я никогда больше не видел Витольда в столь умиротворенно-домашнем облике, расслабившегося и примиренного — видно, в то утро и он к Таньке испытывал мужскую признательность и, чем черт не шутит, что-нибудь похожее на нежность.

Трудно объяснить отчего, но Витольд с того дня проникся ко мне симпатией. Вряд ли это было из-за Таньки, по которой, и это ему было, конечно, очевидно, мы были-таки с ним молочными братьями, он не был настолько сентиментальным, хоть и это имело значение; может быть потому, что, как выяснилось позже, Витольд тайком писал стихи, а я был, хоть и начинающий, но литератор; наконец, здесь играла свою роль и обычная у воров тяга к интеллигенции, какое-то смутное к ней уважение, какого не бывает у простого люда, не прошедшего зону. Нет, симпатия — это даже мягко сказано, Витольд записал меня в кореша, что, признаюсь, не всегда было уютно при его свирепом и непредсказуемом нраве. Скажем, можно припомнить такую сценку: раз мы сидели всё в той же «Метелице», как появился ошивавшийся здесь что ни день гроза местной шпа-

ны, парень моего возраста, но выше меня, очень хорошо сложенный и с какой-то инфернально-кинематографической внешностью — по кличке Шоколад; он был бы очень красив, если б не постоянное мучительно-брезгливое и жестокое выражение, не сходившее с его лица, выдававшее непроходящее болезненное желание кого-нибудь мучить и унижать, как унижали и мучили, должно быть, его самого в лагере, о чем, впрочем, однозначно свидетельствовал сам присвоенный ему псевдоним; не дойдя до нас двух столиков и не видя нас, Шоколад нагнулся вдруг к каким-то девицам и ни с того ни с сего плюнул одной в лицо; та закрылась руками, а подруга ее, должно быть, что-то сказала, потому что Шоколад без размаха ткнул ей в рожу кулаком; вокруг все стихло, и тогда Витольд негромко произнес то, что он произнес, и Шоколад отлично услышал его: ну ты, опущенный, сказал Витольд, и ничего не прибавил; Шоколад быстро обернулся, физиономия его мигом подобострастно скорчилась, и, став ниже ростом, он пошел к нам, твердя: что надо, Витя, я принесу, что надо; Витольд сделал знак, чтоб тот нагнулся к нему, Шоколад опустил на корточки, и Витольд коротко и резко ударил его ногой в грудь так, что на пиджаке и белой рубашке хорошо отпечатались подметка; Шоколада отбросило метра на два, а там уж он сам картинно повалился на спину.

Деньги Витольд добывал просто — крутился на крутящихся, так это тогда называлось, а попросту занимался самым незатейливым рэкетом: подходил к комку на Восстания, где позже был магазин «Кабул», у первого попавшегося спекулянта брал из рук любую вещь,

выжидал паузу, а потом спокойно предлагал — купи, недорого, двести рублей. И не было случая, чтоб не покупали. Самое поразительное, что Витольд и жил, и работал один, за ним никто не стоял, абсолютно, что не могло прийти в голову потерпевшим, иначе тому не сносить бы своей, — некому было его отмазать и прийти на выручку, он рассчитывал только на свои силы — всегда, что же удивительного, если рано или поздно, но он проиграл.

В кабаках, куда он меня таскал за собой, платил всегда он, не могло быть и разговоров, и, чтобы как-то ответить ему, я привел его как-то в дом одного знакомого, бывшего комсомольского поэта, которому я прощал, впрочем, его великовозрастную дурость за трогательное бескорыстно-преданное отношение к Литературе. Поэт собирал у себя пеструю компанию сочинительствующих, преимущественно графоманов, но бывали там и люди одаренные, что не странно, в те глухие годы некуда было податься, вот и сбивались в кучу, и некоторые из тогдашних посетителей с крушением большевиков всплыли-таки на поверхность, вынырнули на свет Божий — кто в толстых журналах, а кто и в парламенте. Витольд там читал стихи.

Я слышал тогда эти стихи в первый и последний раз, не поручусь, что принадлежали они именно Витольду, а не его соседу по нарам, но были они вывезены из зоны, это точно, и мне припоминается жалостливый стих про голодную лагерную дворнягу, которую нечуткие люди — не уточнялось, из зэков или из охраны, — часами заставляют стоять на задних лапах, держа на носу кусок ароматной колбасы. Жестом мэтра сни-

мая и водружая на место очки, устало потирая переносицу, поэт, не ведавший, конечно, кто его гость, стал учинять профессиональный разбор услышанного, и надо было видеть, с каким беззлобным спокойствием слушал его Витольд, глядя бурными своими глазами из глубин своего темного опыта на это чучело гороховое, рассуждавшее, шмыгая носом, о рифмах и аллитерации. Сцена отпечаталась в моей памяти именно наглядностью неисповедимости путей человеческих, неисповедимости и многообразия путей, ведущих всех нас, в сущности, к одному и тому же...

Зал действительно был невелик, человек на двести, и когда мы воссели за оставленный специально за Витольдом большой стол, уставленный закусками, и я огляделся, то понял, что сегодня здесь гуляет элита системы, те люди, при появлении которых начинают шушукаться за столиками дешевых кабаков на Калининском: богатый валютчик Гамлет, причем сам факт, что это было его настоящее имя, говорил об авторитете, ибо очень немногие в этом мире могли обойтись без кликухи; сорокалетняя гречанка по кличке Линтата, мамочка центровых проституток, сводница, бандерша и гадалка, вся в золоте и с большим декольте; целый букет зеленков, в центре которых блистала яркой цыганской красотой знаменитая в те годы в центре Шу-Шу, полностью — Шура Шаровая, в черном платье с открытыми плечами, только что без розы в черных волосах, — вокруг баб порхали армянского вида юноши в длинных блестящих, как у иллюзионистов, пиджаках с громадными отворотами; была здесь и Лида Ш., с которой я был тогда еще не знаком, но о которой слышал многие интриговавшие

меня истории. Играл оркестр, кем-то выписанный и оплаченный, ибо в обычные дни музыка была только в большом зале, пела певичка — какие-то тогдашние шлягеры вроде сладку ягоду ели вместе, горьку ягоду я одна, — причем помимо игривости ей удавалось вместить в песню и ноту глубокой блатной тоски, так что становилось неясно — о беременности в конечном итоге идет речь или о сроке, что дал героине народный суд. И все вместе — водочка, льющаяся по столам, кабацкая хрипотца чувственного женского голоса полуголой певички, ударная установка, исторгающая громы и звон, расфуфыренная и распаренная публика, размалеванные девицы с поплывшей уже краской и размазанными хмельными улыбками, красные мужские лица — все уж сочилось алкогольно-сексуальным угаром.

Витольд изредка кивал кому-то, иногда даже приподнимал в приветствии тяжелую, испещренную татуировкой руку, но ни веселье, ни алкоголь не брали его, он — я неоднократно уже наблюдал это — лишь замыкался и сжимался внутри, не пьянея, и чувствовалось почти физически, если находиться рядом, как со дна его души медленно поднималась муть, ядовитая смесь горечи, обиды и злобы, от которой душно становилось ему самому. Это создавало вокруг него физически осязаемое поле, и не всякий решился бы в это поле ступить. А сам он пока никого не звал, коротко опрокидывал рюмку за рюмкой, молча, но не забывая каждый раз со мной чокнуться: давай.

Впрочем, взглядываясь в толпу танцующих, я все разыскивал глазами Ш., мечтая, чтоб она подошла к нашему столику, — я знал, что они с Витольдом накорот-

ке. Но посетила нас внезапно — Шу-Шу, причем держала себя с той фамильярностью, что позволяют себе секретарши с шефом, переспав с ним, но вовремя не поставленные на место. Она не была пьяна, но под хмельком, конечно, и попыталась даже сесть к Витольду на колени, но он довольно грубо пихнул ее на соседний стул. Впрочем, она была неглупа, хитра и сообразительна, другие, собственно, и не удерживались на ее-то работе, требовавшей бесконечного лавирования между швейцарами интуристовских отелей, клиентами и топтунами из КГБ. Она была бы безукоризненно красива, если б не особое, такое же, как у Шоколада, брезгливо-вульгарное выражение алчного рта — печать порока, выражаясь приподнято, — чрезмерно бросающееся в глаза. Я не прислушивался к их разговору, изыскивая в себе резервы храбрости, чтобы пригласить на танец Лиду самому — впрочем, я не был уверен в том, как отнесется к такому ухаживанию ее конвой, Витольд да и она сама, хоть последнее у меня вызывало меньше всего тревоги, — как услышал неприятную ноту в тоне Витольда. И резкий ответ Шу-Шу, с оглядкой на меня:

— Монгол, о таких вещах вслух молчать надо!

— Я ей напомнил, — сказал Витольд, когда Шу-Шу отошла, — как мы месяц назад с корешом ее на пару харили. — Это было не в его духе, об интимных делах он в принципе не распространялся, да и вообще говорил мало. Я понял, что он на взводе. Я вспомнил, что рассказывала про его художества Танька: как он ни с того ни с сего мог войти в незнакомый подъезд и приняться лупить по железной двери лифта: вставайте, идиоты, вас же имеют! — был диссидентом своего ро-

да. Но здесь-то он, кажется, был среди своих, впрочем — кто из нас может сказать, где у него свои? Сейчас он уперся взглядом в затылок парня, сидевшего вдалеке от нас, спиной к проходу и танцующим, и я тоже посмотрел туда: ничем не примечательный затылок.

— Ты его знаешь? — спросил я.

— Зачем мне его знать, — был ответ.

Тут опять появилась Шу-Шу, спасительница.

— Витя, — затараторила она, ластясь, и было понятно, что она желает загладить размолвку, — Витя, смотри, кого я тебе привела.

За ее спиной, пугливо поджимаясь, стояли две девицы.

— Это джапан, Витя. Понимаешь, джапан. Они японки, а? А вы садитесь, садитесь, — говорила она девицам, показывая на свободные стулья.

Всё озираясь по сторонам, без улыбок, эти две скуластые круглолицые японки с черными короткими волосами, с носами уточкой, коротконогие, но с довольно широкими неловкими бедрами, уселись напротив нас, а Шу-Шу все приговаривала: сит даун, плиз.

Это был совсем другой коленкор. Едва мы совсем соскучились, как у нас за столом оказались натуральные японки, здесь и сомнений быть не могло, желтолицые, узкоглазые, приземистые, и это вмиг открывало перед нами совсем новые перспективы.

— Послушай, у тебя были когда-нибудь японки? — спросил меня Витольд, разглядывая наших гостей. — И у меня нет. Была одна румынка. Из Молдавии.

Я бы тоже должен был признаться, что и у меня ни разу не было иностранки, не то что японки, кроме разве

одной полячки, что училась со мной в группе, но ведь курица — не птица.

Витольд преобразился и стал сама любезность. Первым делом он позвал официанта, шепнул тому на ухо, и вот умножились на столе вазочки с красной и черной икрой, шампанское — тоже многократно размножившееся — переключало в ведерки со льдом, а там повалилась и рыба разных сортов, и жульены, и мясные ассорти. Японки переглядывались и тихо переговаривались друг с другом.

— Слушай, — попросил меня Витольд, когда бокалы запенились, — что они всё говорят на своем кельдыбельды? Скажи им что-нибудь по-английски, они ж должны понимать.

Я сказал. Не знаю, поняли ли японки меня, но отвечали они на своем тарабарском. Впрочем, это не помешало им выпить шампанского, навернуть икры и закусить копченой колбасой.

— Слушай, — сказал Витольд, — у них же там полно и своей икры на Дальнем Востоке, а? Что ж они ее так хавают?

Я пожал плечами:

— Соскучились по родной пище, наверное, вот и берляют.

— А-а, — сказал Витольд глубокомысленно и погрузился в разглядывание обеих, примериваясь и выбирая. — Слушай, Колян, отдай мне их, чтоб парюю.

Этот поворот дела не входил в мои планы, я уж раскатал губу — пусть и таким несколько экзотическим маршрутом, но прикоснуться-таки заветной границы. Но — во-первых, деньги платил Витольд, во-вторых,

японок Шу-Шу привела все-таки тоже не мне, а ему, к тому ж на волне его задора я мог урвать и свой кусочек, попросить его познакомить меня с легендарной Ш.

— Нет, — стукнул рукой по столу Витольд, — давай уж на пару. Сделаем чендж, идет? Хата есть... Скажи им, что валим на флэт. Мьюзик слушать. Мьюзик, понимать? — обратился он к японкам.

— Мьюзик, дья-дья, — закивали японки и стали показывать куда-то в оркестр.

— Они согласны, — констатировал Витольд. — Все это забираем с собой, халдей сейчас завернет. И валим сразу, чего здесь менжеваться...

Он глядел на японок очень плотоядно, хоть ни одна из них, объективно говоря, не годилась в подметки Шу-Шу или Лиде Ш., даже Таньке-Барабану. Халдей уж пробирался к нашему столику.

— Все завернуть, — сказал Витольд, — берем с собой. Еще три шампуня. И коньяку...

— Понял, сейчас будет исделано, — подобострастно склонился официант. — А это вот просили вам передать. — И он положил перед Витольдом сложенную пополам бумажную салфетку.

Витольд развернул записку. Прочел, скомкал и швырнул в пепельницу.

— Где она?

— В гардеробе. Они одеваются...

Витольд встал и пошел к выходу. Я достал записку из пепельницы, разгладил и прочел, едва разбирая куриные буквы: «Монгол! Это твои земли. Люби их и береги. Твоя Шура». Я посмотрел на японок. Ясное дело, они были монголками, странно, что мы сразу этого не

просекли. Впрочем, сейчас было не до них. Шу-Шу неплохо отомстила, но только вряд ли Витольд оценит ее юмор.

Где она их только раскопала? Впрочем, гостиница не принадлежала «Интуристу», в ней вполне могли жить и монголки, а Шу-Шу подхватила их в холле. Витольд возвращался, и по его виду я понял, что Шу-Шу не такая идиотка, чтобы после подобной шутки дожидаться в гардеробе. Он подошел к монголкам сзади, они, то ли перехватив мой взгляд, то ли почувствовав опасность, хотели было обернуться, но Витольд крепко взял одну за правое ухо, другую за левое — вместе с волосами — и стал покачивать их головы, как бы примериваясь ловчей расколоть одну об другую.

— Витольд, — сказал я.

Он замер, но не смотрел на меня. Монголки замерли тоже, не издавая ни звука. Думаю, он боялся на меня смотреть, потому что тогда ему могло бы захотеться меня убить, а убивать меня он не хотел. Лицо его побледнело, обтянулись скулы, и кожа на них мелко дрожала.

— Витольд, — повторил я, чувствуя, что и сам бледнею — от гнева и страха попеременно.

Он медленно разжал пальцы, и две монгольские головы разошлись, как механические, причем одна из монголок принялась тут же тихо поскуливать. По-прежнему не глядя на меня, Витольд развернулся и неторопливо пошел к центру зала, где сейчас не танцевали, и все пространство между столиками было пусто. Какая-то зловещая грация была в его неспешной походке, но я не мог угадать — что он задумал. Вторая мон-

голка все таращилась на меня. Они не понимали — по краю какой пропасти прошли, ни хрена не понимали, взять бы с них тугриками за спасение, на худой конец, могли бы расплатиться бараном... Что-то произошло в воздухе, какая-то мгновенная перемена, хоть видимо ничего не изменилось, исчез только тот парень, затылок которого так пристально разглядывал Витольд, а свисающий край белой скатерти стал ярко-алым, как если бы его окатили из пульверизатора. Витольд той же походкой шел дальше мимо этого стола, и даже сидевшим за ним впору было засомневаться, не сам ли упал их товарищ с коня.

Я стал пробираться к выходу. Возможно, что-то было у нас общее, недаром он хотел корешить со мной, быть может, склонность к одинокому бунту; я ведь тоже чувствовал себя в известном смысле в зоне и тоже мечтал о свободе; да и свобода грезилась мне тогда в конечном счете так же: бикса попышнее, и чтоб пиджак кожаный, и чтоб суп с лимоном. Но нам было не по пути, и у каждого — своя дорога. Прощай, Витольд.

глава VI

ВИОЛА

И все-таки это должно было рано или поздно случиться, и это случилось, причем не походило на преступление, даже на запретное приключение: зона «В», седьмой этаж, аспирантское общежитие филологического факультета, блок из двух комнат, но с одним душем и одним сортиром, осенние сумерки, бутылка

коньяка, и не важно, как я там оказался — по старой привычке, должно быть, ибо никто в тот вечер не стал бы утверждать, что я был чрезмерно трезв. Она располагала крестьян-ской чухонской внешностью, светленькая в желтизну, с простым круглым миловидным лицом, с широким и низковатым задом, приветливая и пьющая, и не прошло и полбутылки, как мы были в постели. При всей вольности тогдашних нравов университетских общежитий и зная мужскую молву о легендарной сексуальной свободе жительниц скандинавского полуострова — золотое доспидовое время! но это вырвалось к слову, — я был удивлен все же скорости этого контакта, ведь знакомы мы до того не были и пяти минут. По-видимому, все дело было в моем шарме; это бесхитрое соображение и нетребовательный жар мимолетного соединения, ее половая предупредительность без этого нашего самоуничижения или гордыни, так — добродушное гостеприимство плоти, — все вместе не позволило мне тут же оценить — что именно со мной произошло. Лишь допивая коньяк, я спохватился, что ступил-таки на заветную дорогу, но сколь ни понуждал себя — ничего необыкновенного в случившемся не находил. Не знаю, может быть, всякий, страстно мечтаая попасть туда, куда ведет, как кажется, опасный, крутой и прекрасный путь, и слишком долго предвкушая миг, когда заветная дверь скрипнет и приоткроется, пожинает разочарование: предвкушение всегда слаще свершения; или для натуры импульсивной слишком долгая подготовка всегда чревата лишь рутинной; к тому ж тот факт, что сошлись мы так по-свойски, что она живет в общежитии, точно как многие мои знакомые, и из Фин-

ляндии, пишет диссертацию по Шукшину и говорит по-русски почти без ошибок, тоже расхолодил меня и ввел в заблуждение, ведь и Финляндия, и общежитие были, как ни крути, когда-то частями моей империи; так или иначе — в тот первый вечер я был почти разочарован, и ничто меня не толкнуло, ничто не подсказало, что самые роковые пути имеют свойство открываться самым будничным образом, заманивая исподволь — так затягиваются в ремесло и в преступление, в любовь или в болезнь, о которых потом никто не заключит — излечимы ли, и которые в лучшем случае закончатся не смертью, но ее репетицией...

Мы стали видеться время от времени.

Конечно, мне льстило, что наконец-то у меня — своя иностранка, как и было положено в богемном кругу, где я тогда отирался. Вообще говоря, понятие свой иностранец не имело тогда неперемного полового оттенка; со своим иностранцем сплошь и рядом крутили семейную дружбу, а наличие адюльтера в этом случае было чем-то совершенно несущественным; свой иностранец должен был водиться в каждом приличном доме, и ценили его больше, чем родственника — лауреата Ленинской премии, берегли от завистливого глаза пуще детей и жены, с той ревностью, с какой тщеславные люди поддерживают престиж, а коммерсанты лелеют верную выгоду. Свой иностранец, будь он сколь угодно захудал и плюгав, лишь бы не из стран третьего мира — о соцлагере здесь и вообще разговора нет, — магическим способом приподнимал жизнь человеческую над обыденностью, хоть корысть была невелика — разве покурить сигареты «Мальборо» в обмен на неве-

роятное количество шашлыков и пельменей, что съедал средней руки человек с Запада в русском доме, попить липтона из березы да получить кое-что из ношенных шмоток, которые, впрочем, можно было перепродать; пол, профессия, национальность иностранца были вещами, вообще говоря, второстепенными, он играл роль своего рода живого амулета, любовь к нему была счастлива и безгрешна, как к существу эфира, и именно бескорыстность этого самозабвенного чувства рядовые западные господин или госпожа с энергией приятного самообольщения принимали за дивное русское гостеприимство, и мало кто из них догадывался, чем кончилось бы оно, прими они, скажем, советское гражданство, — гадливостью и презрением, если не ненавистью, чем только и может кончиться поруганная мечта. Что говорить, для московского плейбоя иметь любовницу-иностранку было непременным условием хорошего пилотажа. Так что я, конечно, гордился своей победой — таскал свою финнку по гостям, вернисажам, сходкам и именинам, тщеславно красуясь, демонстрируя приятелям и предъявляя всем интересующимся, — и, может быть, жить бы мне до сих пор на каком-нибудь хуторе в Суоми, будь я тогда поумнее, более тщателен и осторожен.

По мере того как встречи наши делались все более обязательными, я кое-что выяснял о ней, и понял, наконец, к немалому удивлению, что у нее никого нет — ни жениха в Хельсинки, ни любовника в финляндском посольстве, но что больше всего поражало воображение, так это то, что, по всей вероятности, молодые женщины на Западе точно так, как и в нашей простецкой стране,

не прочь выйти замуж. Во мне стала зреть смутная мысль — не сознательный план, не более или менее отчетливая перспектива, но некий светящийся образ, — зреть с той нежной медлительностью, с какой зреют только самые баснословные идеи, набухая подспудно, а вовсе не приходя во сне, как любят обманывать шарлатаны доверчивую публику, — идеи, которым суждено перевернуть жизнь человека, а иногда и всего человечества; короче говоря, мне пришло в голову, что жениться на ней — мог бы я, но этого не надо было говорить вслух, чтобы не сглазить. Если б это произошло — надо ли пояснять, что могло бы случиться: мы с ней садимся в поезд под названием «Толстой»; как в кино, пересекаем границу; а там уж бог ведает, что стряслось бы — удар, взрыв, озарение, и я оказался бы в западном потустороннем мире, о котором мы все знали так же много легенд, как о рае и аде, но которые при всем желании не подлежали проверке в этой нашей грешной жизни. Я легкомысленно верил, что с ее помощью удалось бы преодолеть все политико-бюрократические запреты и преграды — получалось же это у некоторых, неизвестно, правда, какой ценой, — раз уж она так склонна к замужеству, и дело оставалось за малым — убедить ее, что замуж она хочет именно за меня.

Сделать я мог это только одним способом — убедив самого себя, что не могу без нее жить, это не всегда просто, но в данном случае все сходилось как раз наилучшим образом — одно к одному.

Здесь важно, что при всей ограниченности средств — по западным меркам, конечно, — она чувствовала себя, как в те годы и любая иностранка в Моск-

ве, более или менее — феей, ведь она располагала знанием высшего порядка, какого у всех нас, как персонажей смертных, быть не могло, возможностью общения с иными силами и иными мирами — скажем, способностью проникновения в западные посольства, за что любого на месте поразил бы гром, связью с границей по международному телефону, за что неосторожного тоже могли покарать нездешние силы, наконец, обладая волшебными, вполне бумажного вида конвертируемыми финскими марками, которые мне и держать-то в руках в темноте было опасно, она могла войти в валютный магазин или валютный бар непринужденно, как я в аптеку. По-видимому, на каком-то этапе отношений каждой даме свойственно стремиться быть для любовника волшебницей, щедро и лукаво преподнося свои дары, вот только в век тотальной демистификации секса для этого все меньше возможностей, каково ж было обрести фееричность для такой простоватой финской девушки, причем очень дешево, всего как приложение к советской въездной визе.

Здесь есть, конечно, тонкость, феи помогают лишь сказочным героям, пусть и дуракам, но как раз в те годы этот вопрос для меня не стоял на повестке дня: я был молодым непечатающимся писателем, что в российском климате и пространстве являлось испытанным перифразом героичности, тем более ей внятным, что была она литературоведом-русистом. И еще одно: часто ночуя у нее в общежитии, посещая вечеринки, что устраивала ее землячка и коллега, рыжая жердь с лицом реликтового пресмыкающегося, — на этом фоне моя подруга была верхом женского совершенства, — я и впрямь

подвергался известному риску, не только нарушая довольно строгий режим, но нарушая его путем контакта с иностранкой, и эти два порознь простительных греха, перемножившись, и впрямь могли привести к неприятностям, скажем — меня могли запросто вышибить из редакции журнальчика, где я тогда подвизался, — и подчас я ненароком понижал голос, ища глазами неведомые микрофоны, — и это тоже бесспорно работало на мой романтический имидж, коли ради возлюбленной я иду на постоянный риск. Сие делало наши ночи только страстнее.

С другой стороны, и я сам, поначалу ничего особенного в ней не обнаружив, мало-помалу стал самым искренним образом убеждаться, что эта обыкновенная девушка, выпивоха и хохотушка, правда, весьма прилежная стажерка, все множившая карточки с наблюдениями над языком и стилем своего деревенского объекта, скрывает в себе и впрямь что-то необычное. Роль здесь играли прежде другого мелочи, ее акцент, и нежданная наивность в некоторых советских очевидных реалиях, и мелкие вещицы, до тех пор невиданные мною, и приемы макияжа, и вовсе уж диковинные тампаксы, которые в случае крайней нужды можно вытащить изнутри, потянув за веревочку. Конечно, именно пустяки волнуют влюбленного — даже если его избранница простая смертная, но тут было другое, ведь я имел дело — с потусторонним. Теперь всякий раз, когда она открывала мне навстречу свое щедрое лоно, я испытывал немалый трепет, не столько эротического, сколько мистического порядка, как если бы, веруя, приближался к Иерусалимскому храму. Только любящий экстатически

воспринимает женщину, как если бы именно из ее чрева он появился на свет Божий; я же, проникая в нее, лишь предчувствовал, что могу таким способом нащупать путь — в неведомое и запредельное, не назад — вперед; что ж тут странного — ведь чем дальше, тем вернее слияние с ней сулило не проникновение лишь обратно в лоно, но попадание прямо — в мир иной... Прошло месяца два, о браке не было ни слова, но теперь, всякое утро, если я не ночевал у нее, я получал телефонный звонок, а через три дня на четвертый — какое-нибудь свидетельство ее внимания, какие по тому времени могли вывалиться только из феинового рукава: скажем, посмертный двухтомник Шукшина, мне в общем-то ненужный, но купленный за валюту в ихнем волшебном магазине, или великолепный альбом Миро — о Миро я и не слыхал прежде, — вывезенный не иначе как из книжного стокмана, что неподалеку от хельсинкского вокзала, — впрочем, о существовании такого заведения я узнал лишь много лет спустя.

Самые трогательные вечера мы наладились проводить в дальнем углу кафе «Националь», которое в разное время сыграло важную роль в жизни определенной части московских обитателей разных поколений — и в моей когда-то. Ни она, ни я богаты не были, но ведь и «Националь» в те годы был дешев, червонец — ужин на двоих, на двадцать же рублей можно было наесться икрой под шампанское. Но для проникновения внутрь кафе, если на улице стояла очередь у дверей, а стояла она всегда, даже по понедельникам, приходилось применять особую тактику: подружка моя отправлялась через гостиничный вход с финляндским

паспортом наперевес, объясняла швейцару, что она — переводчица, ведь гостиничной карточки и у нее не было, сквозила по второму этажу мимо ресторанного зала с балалаечниками и мимо валютного бара, спускалась по другой лестнице в холл, а там уж обрабатывала другого привратника — но не с улицы, а изнутри; наконец швейцар приоткрывал уличную дверь, в узкую щель, под его плечом, на котором некогда красовались погоны, смененные ныне на золотые лампасы на штанах, я просачивался внутрь меж пронырливых проституток и бодрых молодых людей, у которых, увы, не было волшебной помощницы, а уж найти место в зале можно было всегда — в кафе осуществлялась негласная фильтрация клиентов, хоть свободных мест было достаточно и по субботам, но посторонний, не ведающий здешних порядков, мог очутиться в «Национале» только чудом.

Счастлирое совместное преодоление препятствий сближает больше, чем еда, какой нам всегда не хватало в общежитии, чем армянский коньяк, который мы, смакуя, отглатывали, глядя в глаза друг другу. И, может быть, именно такие минуты и оседают накрепко в памяти, тогда как все остальное — лишь приблизительная реконструкция... Впрочем, эта вечерняя идиллия всегда омрачалась, делалась хрупкой, едва мы вспоминали, что не знаем, сможем ли быть вместе этой ночью. После одиннадцати вечера ее зона «В» особенно тщательно охранялась, привратники, как ни странно, были неподкупны, но кое-кто, узнавая нас, ленился спрашивать у меня пропуск, принимая за постояльца, а иногда удавалось попасть к ней в постель — черной лестницей, ведущей из подвала, куда по неряшливости забыли за-

переть дверь; хуже всего бывало как раз в конце недели, когда на вахту заступали члены оперативного студенческого отряда, комсомольские Ломоносовы, со сладострастием бросающиеся на жертву стаей. Неумолимы они были, как сам железный Феликс, благо, лишь считались добровольными помощниками милиции, являясь на деле, конечно же, подручными КГБ. Их-то приходилось избегать пуще всего, ведь по молодому неутоленному рвению они могли нас выследить и установить за ее комнатой особое наблюдение, — и было в этой неопределенности тоже что-то сладкое — от прощания, и все придавало нашей нежности щемящий привкус неверности и разлуки.

Именно в «Национале» подсел к нашему столику О.О. Сценарист — кинодраматург, как называлось это официально, — вполне преуспевающий, ваявший все больше на темы исторические, позже, кажется, даже лауреат, являвший собой странный гибрид интеллектуала и блатаря, так что профессию он выбрал правильно, прямо посередине, — впрочем, он не один такой был в блестящей поросли московских юношей, чье созревание пришлось на мифологическое уж нынче время Первого Московского фестиваля молодежи и студентов, — драчун, бретер, артист жизни и сентиментальный авантюрист, — и я назвал бы его моим приятелем, не будь он пятнадцатью годами старше и не величай меня прилюдно — учеником. Я и впрямь кое-чему у него научился. Скажем, прибаутке:

Не могу, сказала мисс,
у меня теперь люИс,
ну а попросту — сифон,

запишите телефон, —

экспозиции в две трети, короткому резкому удару прямой правой, в который требуется до предела вложить свой вес, а также тому, что каждый из нас — даже вполне далекий от гениальности — может много больше, чем его приучили думать банальные обстоятельства и поганое воспитание; однажды мы с ним поспорили на две бутылки коньяка, что за десять дней я напишу десятистовую повесть, в день по листу, и я выиграл это пари, вы понимаете — чего мне это стоило, но коньяк он мне так и не поставил, обронил только, прочтя с целью проверки: что ж, проскакивают чистые ноты, как если бы баритона за пьянку списали в оперетту... Короче, я был рад его видеть.

Здесь надо бы набросать портретик О.О.; внешность его была вычурна, как и характер: длинные черные волосы и спутанная борода, в которой прятался маленький быстрый беззубый рот (— Где взять деньги на врача! — вопил он, бывало, перед зеркалом, хоть швырял в ресторанах сотнями, просто до обморока боялся стоматологов), попугаисто-капустный наряд — многочисленные шмотки одна на другой, маечка, фуфачка, рубашечка, курточка, все разноцветное, желто-красно-зеленое, на голове панама, имитирующая тирольскую шапочку, которую в ресторанах он не снимал, а надвигал на самые затемненные очки, — похоже, больше всего он боялся, что его могли бы принять за советского гражданина; он и впрямь выглядел нездешне, походил на полоумного какого-нибудь шотландца, боцмана, скажем, сухогруза, которого занесла нелегкая

в порт пяти морей. Я представил его подруге, он глянул из-под очков, нагло зевнул и, двумя щепотями подергивая вперед шовчики на куртке под ключицами — обратный аналог блатной шикарной манере сбрасывать пиджак назад, чтоб отвороты ложились на плечи, — процедил: «Голландия?» «Финляндия», — поправил я, мне было лестно, вся эта хамоватая небрежность должна была маскировать удивление и интерес.

— Послушайте, ребятки, — перешел он вдруг на шепот, довольно бесцеремонно схватив нас каждого за руки, — купите мне в шопе чаю, сигарет и витамины для дочери, есть немного денежек в заглазнике, идет?

Просительный его тон тоже должен был бы нам польстить — сам О.О. просит об услуге. Впрочем, моя финская простушка не знала, кто такой О.О., но вежливо пообещала. И мы выпили коньяка — за международное согласие, за СССР и Финляндию, за встречу, за искусство кино, за Шукшина Васю, с которым О.О., конечно же, был знаком, чем привел в восхищение мою подругу, а потом за все хорошее в подлунном мире, включая Голландию. Пили до закрытия, О.О. предложил ехать к нему — читать стихи, в те годы и не принято было в Москве расходиться из ресторана по домам, обязательно к кому-то ехали, — и мы покатили.

Уже в квартире О.О. оказалось, что мы забыли прихватить с собой выпивку, а у него — кончилась.

— Надеюсь, ты не заставишь бежать старого хозяина; деньги у тебя есть, полагаю, ведь вышло новое положение — младшие угощают старших...

Все, кроме последнего тезиса, показавшегося мне сомнительным, было правильно — бежать по всем пра-

вилам должен был я; конечно, мне не хотелось оставлять О.О. с моей девушкой наедине, тем более следовало бежать, не споря, нельзя потакать ревнивым движениям души.

Я обернулся минут за десять. Перехватил поллитру у первого же попавшегося таксиста, благо, стоило это тогда — пятерку. Дверь в квартиру была не заперта. О.О. и моя подруга сидели на кухне друг против друга, он декламировал ей стихи Бродского, о котором, как выяснилось, она и не слыхала. Нетерпеливым движением он показал ей рукой — мол, возьми в шкафчике рюмки, и, к моему удивлению, она тут же подхватила, захопотала, полезла в шкафчик — совсем домашнему. Но что еще удивительнее, так это — одна полная и одна початая бутылки коньяка, стоявшие на полочке рядом. Впрочем, О.О. был жадноват...

Мы с ним увиделись уже дня через три, столкнулись в пестрой буфетной ЦДЛ, что-то выпили и — по-неслась, как у нас говорят. Часам к восьми вечера мы уже сидели в «Пекине», а часам к десяти были вполпьяна, но еще свободно ориентировались в пространстве, еще не перешли на автопилот. Среди грома оркестра, плясок кримпленовых фиксатых баб я соскучился, прикидывая, как бы ловчее мне соскочить в зону «В» к своей подруге, но О.О. пришла идея спереть большой медный поднос с официантского подсобного столика. Я никак не мог отказать ему в соучастии в этом остроумном приключении. Один берет пальто в гардеробе, другой нацеливается, поднос выносим мимо швейцара под полою, но, проделывая все это, мы столкнулись с тем, что поднос оказался чересчур велик в диаметре, и

с грехом пополам мы незаметно выволокли-таки его на улицу. Там шел густой и освежающий снег. С подносом надо бы что-то делать. Тут же, у подъезда отеля, я использовал поднос на манер бубна, а О.О. запел из Россини. Впрочем, ветер был довольно резок, снег несло косо и колко, метель не располагала к концерту.

Мы остановились в задумчивости. О.О. сказал:

— Ну и сраная оказалась эта твоя финка.

— Почему? — спросил я спокойно.

— Не моется.

— Ты спал с ней?

— Вдул.

Я положил поднос на снег.

— Когда я за водкой бегал?

— Когда?.. А, нет, она мне вчера позвонила, мы поехали в березу за чаем, а потом я ее в подъезде поставил раком и засиропил... Странно, иностранка, а немытая...

Я ударил его, как он меня учил, — резко, правой прямой. Было скользко, он так и покатился по тротуару. Теперь нельзя было дать ему опомниться и встать, иначе у меня осталось бы столько же зубов, сколько было у него, — он был неплохим боксером когда-то, и, несмотря на пьянку и разгул, держал себя в приличной форме. Я бросился на него сверху как раз тогда, когда он приподнимался — в конечном счете, мы же не уговаривались: бокс это будет или кетч. В последнем случае у меня было известное преимущество — я был крупнее и тяжелее его. Сцепившись и мутузя друг друга, мы стали кататься под метелью на потеху сутенерам, проституткам и таксистам, толкавшимся перед фасадом. Не

знаю — сколько времени мы провели за этим занятием, как вы понимаете, я не смотрел на часы, но очнулся я в воронке, О.О. страшно матерился и показывал двум задумчивым милиционерам разорванный ворот своего дубленого полушубка.

Впрочем, в околотке он протрезвел, поменял тактику, неразборчиво сказал, что драку начал он сам — при его явной несклонности к игре в благородство, — а там достал кинематографическое удостоверение и стал уверять дежурного, что это именно он сочинил «Белое солнце пустыни», полагая, очевидно, что ментам это ближе, чем, скажем, «Три тополя на Плющихе».

Тем не менее нас посадили в каталажку — правда, по отдельности, а часов в семь, когда у них менялась смена, выписали квитанции на штраф и отпустили на все четыре стороны.

Мы шли по Горького в молчании, О.О. вдруг сказал:

— Все эти дни что-то такое чувствовал... И вот, пожалуйста, — вчера пошел снег.

Он был животное, я тоже был животное. По-видимому, мы все в большой мере животные. И мне лишь оставалось поучиться у взрослого самца подстергать и подманивать самку. Впрочем, я всегда избегал пользоваться женщинами приятелей. Не джентлмен лайк. Да и гордость — все равно, что не самому поймать рыбку, а украсть пойманную у товарища. Да и брезгливость — если уж спать на чужих простынях, то лучше не знать, кто спал на них до тебя... Когда ровно в восемь мы сидели за столиком ресторана асимметричной гостиницы «Москва» и нам уже несли пиво, закуску и холодную водку в графинчике, О.О. изрек:

— Знаешь, Коля, до тридцати я тоже гордился, что все женщины дают мне с первого раза. А потом задумался — боже, с кем я прожил свою жизнь!

Мы выпили, не чокаясь. Его голову клонило к столу. Я разглядывал мозаику на потолке — хорошую сталинскую мозаику, какой не делают теперь нигде в мире, — может, только в Северной Корее. О.О. совсем сморило, я же в те годы мог пить и гулять много суток без сна, подряд...

Через полгода я женился, влюбившись в милую девочку и рассудив, что приключения позади и к двадцати пяти годам я заслужил немного счастья в своей маленькой семье. Она была генеральской дочерью — представляете, как доволен был генерал, — и начинающей художницей, и альбом Миро перекочевал на ее полку. А еще через несколько лет на какой-то выставке я встретил и свою бывшую финскую подругу. Она расплылась и потускнела. Рассказала, что тоже была замужем — за аспирантом из Волгограда, что вывезла его в Хельсинки, но он бросил ее и уехал в Америку. Зачем она снова приехала в Россию, я не стал спрашивать, должно быть, выходить замуж.

глава VII

ГУЛЯ

Трудно было найти что-нибудь грязнее этого уличного кота — я не говорю о человекообразных обывателях — в том северокавказском городишке, и именно его-то она и подхватила на руки, прижав к своему светлому платью. Мы приехали искать клад. Много золота, бриллиантов, старинных украшений, которые ее бабка впопыхах запихала в нишу кирпичного борова печной трубы, прежде чем отплыть в Константинополь. Три дня жили в мотеле при дороге из аэропорта в центр, шлялись по опасным грязным кабакам, два раза были в церкви, где она ставила свечи, молилась неизвестно за кого и неумело, она была атеисткой; сейчас она прижимала к груди это отродье со спутанной шерстью в парше, с отчетливым запахом гнилой рыбы из пасти. В нищенском трущобном полусвете я видел, что по ее щекам стекают слезы.

Плакала она и в церкви; и когда мы впервые вышли к разлапистому одноэтажному красного кирпича особняку, отданному советской властью под больницу, кажется, МПС; и даже когда я воспротивился стоять в длиннющей, пахнувшей женским потом и кишевшей чумазыми детьми очереди за мороженым, — доказывала мне, что ей как раз необходимо выстоять эту очередь на жаре со всеми людьми. Позже, узнав ее ближе, я стал догадываться, что во всем этом было больше со-

циального самоуничижения, чем сентиментальной ностальгии.

До сих пор удивляюсь, как нас там не зарезали. Она была вполне жертва и притягивала уличных маргиналов — высокая, чуть сутулая блондинка с бюстом и ногами фотомодели, растерянная иностранка, раздающая деньги нищим, с заискивающей готовностью одевающая дорогими заграничными сигаретами черных с рыжиной фиксатых парней с угрюмыми прыщеватыми лицами, сующая жвачку детям цыганок, торговавших у вокзала губной помадой; к тому ж — с глазами всегда на мокром месте. Последнее обстоятельство, впрочем, я тогда относил не столько за счет умиления от встречи с пенатами и ларами, сколько списывал на то, что трезвы мы, конечно, не бывали. Вряд ли она привыкла у себя во Франции к таким количествам крепкого, дурного качества алкоголя, но водка была необходима при здешней пище, к тому ж вино здесь отдавало уксусом, шампанское было теплым и сладким, пахло дрожжами. Ступа, к счастью, у нее с собой не было, пакетик марихуаны, прихваченный из Парижа, ее более опытная подруга заставила выбросить в сортир в самолете, а я грудью встал против ее поползновений приобрести анаши у здешней шпаны, — я боялся подставки, после чего местной конторе ничего не стоило бы продержать ее с месячишко в кутузке перед высылкой из страны; о собственной судьбе в этом случае я не говорю. Однако, предполагая некоторые особенности ее характера, подобную перспективу я ей не стал описывать: помани я ее столь блестящими, айседордункановскими возможностями, она рванула бы за своим кифом, и никто бы ее

не удержал. Так что я лишь врал, что здесь нас непременно кинут, всучат фуфло и бодягу, но когда мы доберемся до Москвы — я добуду ей дряни и дури сколько душе угодно.

Знакомы мы были всего неделю. Впрочем, она была мне признательна, что я вызвался сопровождать ее на Кавказ, чем загорать в Ялте, а само это приключение нас сблизило: что и говорить, она оказалась хорошим и благодарным товарищем для любой авантюры, да и ей лучшего, чем я, искать было не нужно. Познакомились мы так: мой коллега Дима С., пребывавший в долгом потенциально матримониальном романе с парижанкой русского происхождения, узнал, что его возможная невеста в очередной раз прибывает в СССР по туру Ялта—Москва, но не одна, а в компании двух подруг; зная нрав своей невесты и будучи наслышан о подругах, приятель справедливо рассудил, что одному такую ситуацию ему решительно не потянуть; и предложил мне помочь выкрутиться. Я, конечно, откликнулся с готовностью — о чем разговор! — хоть, сказать по правде, в том июне в Москве мне тоже было чем заняться: как раз тогда у меня была бурная связь с одной балериной — хорошей наружности и необычных эротических достоинств, так что я забыл взять вовремя билет до Симферополя, вспомнил про уговор в последний момент, примчался в аэропорт ночью, затесался на предутренний рейс, но, добравшись до Алушты, имел еще время сесть на катер, выпить в корабельном буфете массандровской мадеры и подремать на палубе — до самой ялтинской набережной. Ибо договор был таков: Дима встречается с девочками самостоятельно, а мы с

ним — в полдень в кафе на веранде гостиницы «Ореанда». Я причалил как раз вовремя, но в кафе никого не было, и официант подал мне записку с координатами отеля «Ялта». Через полчаса я был там и пытался разобраться в диспозиции: мой приятель — он был годами пятью меня старше, две очаровательные парижские дамы его лет — одна белокурая и плотная, с сильными конечностями и решительным видом, невеста, другая — долговязая, с невероятной длины красивыми ногами, с низкой челкой, тоже белесой, и с расфокусированными огромными ярко-синими глазами; наконец, маленькая и беременная их подруга — из бывших советских, нынче состоявшая во втором браке не за французом, но за американцем, впрочем, беременная лишь слегка, месяце на пятом, — Ольга, Гуля и Ритуля. Невеста приняла меня благосклонно, бывшая соотечественница — радушно, в то время как третья — достаточно агрессивно, что и подсказало мне, что эта, по видимому, — моя, хоть никакого предварительного сговора на сей счет, конечно, не было.

Я ее понимал, в ее положении нужно было первым делом выставить форпосты, чтоб спокойно оглядеться. А ну как я оказался бы туповатым занудой, принялся бы предъявлять несуществующие права и покушаться на возможность случайного приключения, чем испортил бы очарование путешествия. Она была в Союзе впервые; должно быть, он представлялся ей чем-то вроде приполярной Кубы, где некогда, как ни странно, жили ее предки; боже, как много здесь должно было быть хороших возможностей: подцепить, скажем, вождя татарского племени, оперуполномоченного, по совмести-

тельству, КГБ, или совратить не парижского, но настоящего православного батюшку с бородой по кушак, или, на худой конец, проникнуть в притон, скрытый под вывеской школы партхозактива, где под психоделические звуки балалайки курить травку и петь хором цитаты из Маркса — Ленина... Она носила звучную польско-русскую фамилию, она прозывалась милым домашним именем, какие давали детям в дореволюционных, а потом эмигрантских дворянских семьях, но, как ни крути, она была дитя парижского мая шестьдесят восьмого года.

Впрочем, ничто не могло помешать нам тут же распить пару шампанского — за знакомство, после чего они отправились гулять по городу, а я — устраиваться, потому что расположиться у них никто, разумеется, не предложил.

Мне удалось найти лишь кровать, и ту не в помещении, но под навесом в саду — недалеко от отеля. Потом я поскакал на пляж, где тут же сдружился с миленькой простоватой юной дамочкой, оказавшейся, что неудивительно, когда живешь от рифмы к рифме, тоже танцоркой — из провинциального ансамбля народного танца. С ней мы еще выпили, погуляли по парку, пообжимались в тени акаций и обо всем сговорились; правда, мне вечером предстоял поход в ресторан с Диминой тургруппой, но у меня были основания предполагать, что, возможно, уже сегодня я окажусь лишним. Ничуть не бывало: подстраховка не пригодилась, места были заказаны, уклониться было нельзя. Когда вечером такси увозило нас от отеля, на дорожке к нему появилась танцовщица с загорелыми, чуть перекачанными икрами, в

фольклорном платье, спешившая ко мне на свидание; я проводил ее взглядом с сожалением.

Мы попали на веранду с отвратительным варьете и еще худшей пищей. За столом ничего не клеилось: Дима с Ольгой собачились — может быть, из-за меня; мы с Гулей смотрели в разные стороны; одна Ритуля была в своей тарелке, кажется, ей было хорошо со своим плодом тет-а-тет. Единственный раз мы с Гулей танцевали, и я положил ладонь на ее высокую грудь; она отбросила мою руку и проговорила с отвращением: совсем как француз; она была разочарована, но я не знал тогда — относится это к приемам французского флирта или к неуместному их применению; позже выяснилось, что — первое, но не в тот вечер. В конце концов я отправился на свою садовую койку, где и заснул, — впервые за много дней — одиноко и безмятежно. Но встать пришлось рано: часов в шесть со стороны хозяйского дома мимо моего убежища побежало переполошенное стадо заспанных полуголых квартирантов, к которому был вынужден присоединиться и я, — шла милицейская облава с целью выявления непрописанных...

В тот же день все наладилось, впрочем. Гуля, должно быть, разобралась в обстоятельствах и убедилась с сожалением, что здешние нравы вряд ли более дики, чем, скажем, в Марселе, хоть и была до крайности фраппирована тем, что советская Россия так неуместно вестернизирована. Делать ей было нечего, диссидирующие литераторы, прячущиеся по номерам ее и ее подруги на манер латиноамериканских партизан, — было самое пряное, на что здесь приходилось рассчитывать. К тому ж мы с Димой носили бороды, причем у

него она была точь-в-точь, как у Че Гевары. Мы пообедали в загородном ресторане, мы взяли десерт в той же «Ореанде», мы славно отужинали в номере, нагрузившись неплохим вином, что прихватили на рынке вместе с фруктами, мы с Гулей оказались в постели, где и занялись приморской любовью — без изысков и причуд, на манер прибоа, причем, кажется, остались довольны друг другом. Мне во всяком случае понравилось ее долгое тело, ее нежный лепет и то, что она кончала раз за разом, без остановки, от одного, кажется, моего прикосновения — революционерка-то революционерка, но устроена она оказалась весьма консервативно, и возбуждение у нее было самое обыкновенное, клиторовагинальное.

Наутро я знал, что счастлив, — так нравился мне этот адвенчур. Мне пришлось по вкусу изображать богатого фарцовщика: крутиться среди иностранцев, купаться в бассейне с баром, спускаться на пляж, наглухо отгороженный от внешнего советского мира, в скором лифте, а также играть с невиданными мною до той поры игральными автоматами, что стояли на каждом этаже в боковом холле; среди них я выбрал один, имитирующий охоту; я потратил уйму пятнадцатикопеечных монет, прежде чем наловчился попадать в цель, а не в охотника, который то и дело летел у меня вверх тормашками.

Наши девушки представили нас и другим участникам тура. Это были преимущественно старушки, понятия не имевшие о России, хоть тур и был организован Обществом русско-французской дружбы. Среди них мне приглянулась одна, с пугливой увядшей красотой и

стройненькая, с морщинами на руках и шее, грациозно державшая аккуратную головку и с боязливым кокетством поглядывавшая по сторонам. В ней привлекало нежелание сдаваться и то, что она была именно француженка, несомненная француженка, без всяких там русских корней. Я украдкой подмигнул ей, после чего то и дело ловил то сям, то там, в холле, в буфете, на пляже, ее восхищенные и застенчивые улыбки.

Пожалуй, никогда прежде, до тех ялтинских дней, я не чувствовал себя так вольно и бестревожно; это неведомое доселе чувство покоилось на некоторой сумме денег, как раз тогда полученной в счет гонорара за первую книжку, и на доступности вполне естественных радостей. Невиданных радостей, как то: завтрак за шведским столом, сидение в чистом баре, где не воняло прогорклым маслом, с газетой и утренней чашкой кофе, вежливость услуги, исправность сантехники, возможность выпить рюмку хереса или холодного лимонада уже через секунду после того, как ты этого захотел, вдыхание не запаха чужих толстых тел, но то и дело струящегося сквознячка заморских духов, сбыточность, наконец, во всякую минуту принять душ и сказать горничной постирать твою потную рубашку. В какие-то мгновения мне представлялось, что я нахожусь не в советском прибрежном отеле — пусть таких было только два в те годы в Союзе, — но действительно за границей, где люди всегда чисты и хорошо пахнут, по утрам пьют ледяное шампанское на балконе с видом на море и горы, сиесту проводят в объятиях друг друга, а потом играют с игральным автоматом — прежде чем отправиться в варьете. Да и сам я себя чувствовал другим, не па-

рижанином, конечно, но и никак не жителем советского мира, и это тем более удивительно, что такое полное забвение реальности бывает, наверное, только при шоковой амнезии. Ведь это благоденствие было абсолютно эфемерно, — мигни швейцар одному из мальчиков в штатском, что вечно торчали в вестибюле, поглядывая вокруг птичьим глазком, и конец недолгому счастью; но мы вспоминали о висящей над нами угрозе не чаще, чем помышляет о смерти скалолаз или автогонщик; мы лишь почти рефлекторно принимали необходимые меры предосторожности, сводившиеся к мимикрии с помощью иностранных тряпок и фотоаппаратов на шеях, да еще постоянно глупо оживленного выражения лиц, экскурсантски заинтересованного и вместе как бы не от мира сего; вот только нельзя было ни с кем встречаться взглядом, ибо глаза наши — глаза всегда оставались настороженно советскими.

Мы, можно сказать, были в роли. Мы строили из себя европейчиков в этой стране, пережившей тогда конец эпохи дилетантского тиранства, эпохи, оборвавшейся с началом афганской войны, — времени судорожного карнавала, ожиданий перемен и предчувствий потрясений. В тот год, помнится, в определенном кругу было шиком опохмеляться голландским яичным «Боллс», петь «Мурку» в переводе на английский, носить марлевые индийские рубахи — по прошлогодней парижской моде, и готовиться сваливать: то ли хлопотным путем — брака, то ли менее верным, но более прямым — по израильской визе. Хмель отъезда дурманил, без преувеличения, все подряд головы, отнюдь не только молодые; тон задавала, конечно, творческая ин-

интеллигенция послевоенных поколений, исключая официоз, но кто тогда причислял официоз — к интеллигенции? В этом поголовном отвальном движении были свои лидеры, свое болото и аутсайдеры, но энергия исхода была такова, что и последние неведомо для самих себя как оказывались выплеснуты с родины и унесены далеко за океан. Сегодня уже нашлись этнографы, описавшие ритуалы жизни поздних семидесятых, когда обряды свадеб и похорон отодвинул единственный — проводов, праздник рыданий остающейся родни, последних судорожных адюльтеров в ванной, аукционов не принятых на таможне вещей и радостных прощаний с друзьями невесть на какой срок до встречи неведомо где. Мы жили тогда одним веселым табором, так славно не походившим на повседневное унылое бытие: никто больше не делал карьеры, никого не подсиживал и даже не ревновал; не было места тревогам о школьных успехах детей или волнений по поводу улучшения жилищных условий; собственно, даже заботы о хлебе насущном отошли на задний план — ведь в каждой семье было что промотать, и сама эта распродажа делала невозможным отступление; тут еще чуть не каждому перепали посылки от неведомых еврейских организаций, уродливые женские ботфорты или невозможные кацавейки на рыбьем меху, но на такие сапоги и шубу можно было жить безбедных полгода; да и жизнь была тогда баснословно дешевой, и мы катали по три раза в году на море, мотались между двумя столицами, а не в сезон — пропадали в гостях друг у друга, и даже вполне серьезные люди поддавались этому общему поветрию легкомысленной безот-

ветственности. Кое-что мог бы объяснить интеллигентский фольклор тех лет, будь он вовремя собран, былички ветеранов отказа и цитаты из писем уехавших, но пуще другого — туземная космогония советской поры, в которой здешнему царству Софьи Власьевны и Галины Борисовны, коммунак и гегемонов, противопоставлялось западное полушарие свободы и чудесного исполнения желаний; это кажется чудовищным, но самые умные и ироничные могли всерьез утверждать, объясняя, почему надо ехать, что приличному человеку вторую половину жизни пристало провести на собственной вилле с верандой на атлантический ли восход, на тихоокеанский ли закат. Впрочем, независимо от ума и образования, возраста и положения, большинство нас, тогдашних, оставались Митрофанушками, эгоцентричными и капризными. Мы ощущали себя — в центре мира, полагали, что коммунаки нас несправедливо обидели, хоть и затруднились бы, должно быть, сказать — чем именно, и уповали, что впереди, на Западе, нам светит компенсация, своего рода извинения судьбы и одни яркие игрушки. Мы с легкостью заглатывали наживку, читая в советских газетах о полнейшем нашем превосходстве, — ведь про высоты русского духа мы знали еще от Достоевского, но с негодованием отвергали все, что бросало тень на нашу мечту, и у скольких же советских эмигрантов екало потом сердечко при виде отеля для беженцев в Вене, свалки где-нибудь в Остии или бездомного, спящего на решетке сабвея.

Это и потому еще удивительно, что в нашем кругу толклись тогда с утра до вечера иностранцы — стажеры-славяки, а то и бизнесмены, и корреспонденты, и атта-

ше по культуре, но никто никого не пытался переубедить: так детям не говорят всей правды, считая, что коли повзрослеют, то сами поймут. А мы в свою очередь, чем задавать вопросы и пытаться хоть что-нибудь понять, использовали их лишь как источник хорошей выпивки, или на манер почтовых голубей, или как агентов по передвижению через границу нехитрой подвижности, чувствуя к тому же свое превосходство, ведь мы, советские — и они это охотно подтверждали, — располагали уникальным опытом жизни в тоталитарном ярме и постоянного отстаивания внутренней духовной свободы. К слову, большинство людей Запада в России потакали не только нашим слабостям и комплексам, но и своим собственным: у себя дома они сплошь и рядом отнюдь не были столь значительны и богаты, какими позволяли себя числить русским, а проверка, если и могла состояться, то в очень туманном будущем.

Но — и это самое забавное — едва смолкала речь и вступал в права язык жеста и пластики, как нас охватывала робость, переходившая подчас в легкую панику, столь различно оказывалось наше бытовое поведение. Это был тот плацдарм, где краснобайство попросту неуместно, и единственное наше оружие падало из рук.

Оказывалось, что мы не умеем сидеть, ходить, есть, пить, останавливать такси, пользоваться носовым платком, носить вещи, снимать трубку телефона, прикуривать сигарету и тушить ее в пепельнице — не умеем так, как умеют они. В каких-то ситуациях это бывало столь очевидно, что по нашим спинам полз холодок, как у эмигранта, обнаружившего по приезду в Америку, что много лет его учили не тому языку. Поэтому-то мы, рус-

ские обольстители, поговорив с иностранкой под водку о вечности и литературе, торопились тащить ее в постель — они это принимали за очаровательный распутинский темперамент, — нам при свете и вне разглагольствований попросту было некуда девать руки. А параязык соития у белых людей повсюду один и тот же.

Но одно все-таки дело дискуссии и коитус время от времени, другое — круглосуточное существование друг у друга на глазах, — не могли же мы с Димой только и делать, что дебатировать о Сартре и совокупляться с нашими парижанками. Поэтому именно в промежутках, потребных на питье, еду и туалет, и проявлялась вся разница наших привычек: можно сойтись на любви к Тютчеву и Лотреамону, но все равно многое вылезет наружу при чистке зубов или стирке грязных трусов. В этом смысле не могло быть ничего более поучительного, чем сосуществование двух советских мужчин с тремя парижскими красотками в течение недели в двух двухместных номерах на пятерых.

Скажем, не без робости я заметил впервые, что после того, как они примут ванну, они оставляют использованные полотенца прямо на полу ванной комнаты. Размышляя об этом, я пришел к мысли, что нам, русским, вообще претит какая-либо одноразовость; ведь у нас повторно идет в ход все что угодно — от пластиковых пакетов до презервативов — и это, понятно, из бедности; но отчего в стране, где нет недостатка во времени и в топливе, даже суп варят на четыре дня, мотивируя это к тому же предрассудком, будто на третий день суп делается только вкуснее? Примерно такое же

недоумение вызывало то, что они каждый день мыли голову шампунем, как мы — руки мылом, ведь нам не уставали повторять, что слишком частое мытье головы вредит корням, неужели и это золотое правило возникло из вытесненных соображений экономии моющих средств? Но больше всего задевала в них, вызывая наше затаенное и ревнивое восхищение, недоступная ежесекундная свобода самых обыденных действий, до которых, однако, нам было, казалось, ни за что не додуматься. Скажем, Дима, посвятивший, по его рассказам, в юности много времени, подражая походке Юла Бриннера и его манере держать руки, поделился со мной в восхищении, что однажды Ольга, когда он лежал в ванне, заглянула к нему и зачерпнула из ванны заварочным чайником воды — сполоснуть: забавно, но этот вполне цыганский жест показался нам обоим верхом изящества и раскрепощенности. Подобные пустяки пронзали нас тогда острым чувством собственной неуклюжести. Конечно, при нашем нахальстве это были лишь краткие уколы, которые мы тут же скрывали за привычной бесшабашностью, но они-то и заставляли нас пристально наблюдать за подружками исподволь — и пытаться учиться.

Конечно, напрямую подражать им было никак невозможно, так легко было тут же попасть впросак. Впрочем, и не подражая им вовсе, но лишь пытаясь угадать общую колею и идти за ними след в след, я, скажем, то и дело оступался. В сожитии нашем сразу же обнаружилось ничем не прикрытых два тонких места: отношение к деньгам и отношение к телу, и можно сказать, что здесь прослеживалась некая обратно пропор-

циональная связь. Российское вполне беззастенчивое отношение к деньгам — своим и чужим — как бы уравновешивалось в нас стыдливостью в телесной сфере, в то время как они в финансовых вопросах — прежде всего, между собой были как раз щепетильны, что не мешало им, впрочем, бывать подчас широкими, тогда как в отношении тела, напротив, были весьма щедры, проявляя, однако, и здесь вдруг нежданную деликатность. Поэтому живя с ними, мы пуще всего старались упрятать поглубже наше русское ханжество и обуздать финансовую безалаберность, а значит, проявляли распушенность тогда, когда следовало бы остановиться, и становились не к месту жеманными, когда следовало с благодарностью брать. В этом и есть разница культур — незнание нюансов.

Помню, все трое загорали на балконе всегда без лифчиков, вовсе нас не стесняясь; на пляже Ритуля попросила меня как-то намазать ее спину и ноги маслом для загара, и я старательно мазал, а Гуля в это время болтала с ней как ни в чем не бывало, хоть спал я именно с ней, а не с Ритулей; однако когда как-то раз после обеда Ритуля уселась ко мне на колени в одном тоненьком бикини и, не удержавшись, я погладил ее ляжки, то, когда она встала за сигареткой, сидевшая в кресле Гуля протянула свою длинную руку, взяла со стола тяжеленную пепельницу и швырнула ее в Ритулю с такой силой, что пепельница, вылетев в открытую, по счастью, балконную дверь, должно быть, вышла на орбиту. При этом никто из нас троих не произнес ни слова.

В другой раз в тот же дневной час мы расположились с Гулей отдохнуть на кровати. Дима и Ольга были

на балконе того же номера — к Ритуле из Москвы прилетела мама, крашенная перекисью водорода кадушечка-еврейка, то и дело давящаяся рыданиями от перманентного умиления заграничностью дочери, на самом деле зорко следящая, чтоб ни тряпочки, ни кусочка французского мыла не проплыло мимо ее рук, — Ритуля ее стыдилась и держала в другом номере взаперти. Разморенная после солнца и пляжа, Гуля хотела, чтоб я вошел в нее; полагая, что у этих детей-цветов и эмансипанток принято, раз они ходят голыми перед нами, и совокупляться, не смущаясь друзей, я принялся за работу, перебарывая неловкость, стараясь показать, что и для меня это естественно, как дыхание; услышав Гулины стоны, Ольга просунула в балконную дверь патлатую голову — она как раз расчесывала и сушила волосы — и осведомилась ледяным тоном, обращаясь ко мне: «Я тебе не мешаю?..» Боже, как это было давно, каким нынче представляется наивным и милым, а кажется — было совсем недавно...

II

Сразу скажу — клад мы так и не нашли. И кота Гуле пришлось отпустить, причем животное — видимо, улица развращает не только людей — преследовало нас не один квартал, скользя по стенам темных домов от угла к углу, тенью промелькивая под редкими фонарями, дергая хвостом и злобно мяуча, требуя, вероятно, жрать, как это делают некоторые бродяги в сознании полного своего права. Кот, очевидно, был физиономистом: Гуля непременно заволокла бы его в наш номер в мотеле и

кормила бы отварной осетриной и белужьим боком из ресторана, но на кошачье несчастье ранним утром у нас был самолет — в Москву.

В особняке Гулиной бабки мы все же побывали. Мне вовремя пришло в голову, что Гуля — она была врач — должна представиться персоналу и сказать, что интересуется медицинским обслуживанием железнодорожников; а чтобы больничная публика не пришла в ужас от несанкционированного визита иностранки, мне пришлось прикинуться сопровождающим от «Интуриста». Впрочем, к нашему появлению в больнице отнеслись вполне равнодушно; дали белые халаты, провели по палатам, где было на удивление чисто; был час обеда, ходячие больные в серых робах, сшитых на манер пижам, тянулись каждый со своей миской, кружкой и ложкой в столовую; нас пустили и туда, больничная еда на вид была съедобна, но Гуля ухитрилась и тут едва не расплакаться — больница напоминала ей «застенки», как она объяснила мне позже. Увы, мне не стукнуло в голову представиться пожарным инспектором — неясно, правда, кого изображала бы Гуля, — и до печной трубы на чердаке нам было решительно не добраться. «Бабушка бы этого не унесла», — шепнула мне Гуля, желая сказать «не вынесла бы», хоть бабушка несколько лет как скончалась; интерьер действительно ничем не сигнализировал, что здесь был когда-то богатый барский дом; и печи наверняка не раз перекладывали; так что я объяснил потом Гуле, что ее фамильные драгоценности, по всей видимости, были использованы на нужды фронта и послевоенное строительство социализма, хоть понимал, конечно, что скорее всего они

пошли в чью-нибудь коллекцию или истрачены на сафари; но я рассчитал верно — ее эти объяснения отчасти утешили, — она ведь была левой, поклонницей Троцкого, Мао Цзедуна и Энвера Ходжи; вряд ли она читала их труды, но ей импонировала идея всеобщего равенства, перманентной борьбы, тотальной свободы и социальной справедливости, которые удовлетворяли потребностям ее революционного мазохизма. Я не раз зарекался говорить с ней о политике и не раз забывал свой зарок; я приходил в ужас от ее прокоммунистических симпатий, она же соглашалась лишь, что Марше — мясник и старая свинья, но восхищалась левым императором Бокассо, который бил французского посланника туфлей по голове; тогда еще не было известно, что он к тому же — каннибал, но, может быть, если бы он ел лишь французских банкиров, это придало бы ему еще больший вес в ее глазах. На самом деле — мне не стоило горячиться; я должен был объяснить ей, что для советской молодежи семидесятых любая левая идея была тем же, чем для нее — программа партии Ле Пена; впрочем, тогда мне было неясно самому, что она была там тем же, чем я — здесь, и мы оба были жертвами расхожего нонконформизма: я возмущался поруганием светлой идеи западной демократии, она утверждала, что, не будь советские оппортунистами, они давно бы построили справедливое общество, как Фидель на своем отдельно взятом острове; я ненавидел большевиков со всей страстью человека, вчера ночью дочитавшего «Архипелаг ГУЛАГ», ее же воротило от богатого Запада — двоедушного, эгоистичного, буржуазного и катящегося в пропасть. Впрочем, когда мы летели в самолете

те, она поглядывала на меня почти жалобно своими синими близорукими глазами. Теперь я понимаю, что она чувствовала. Пока мы жили в ялтинском отеле, она, конечно, испытывала смесь разочарования и жалости от интуристовских потуг дотянуться до западного захолустья, но когда мы посетили городок, в котором к тому же некогда жила семья ее матери, к этим чувствам должна была прибавиться некая брезгливая мука; конечно же, она видела нищету — в Индии или Бразилии, но то была живописная нищета, почти театральная на фоне чужого богатства, роскоши природы или красоты храмов; здесь же она окунулась в море специфически советского убожества, не ведающего ничего, кроме себя самого, а потому неискоренимого, именно эта безысходная самодостаточность серости угнетает в русской провинции, растекающаяся во все стороны слабосильная глупость, неряшливость и небрезгливость, помноженные на затаенную животную злобность; как здесь не чувствовать себя облапошенной, дура дурой, как не сделаться почти больной, и в Гуле были налицо симптомы этой болезни...

Впрочем, Москва встретила нас новой фиестой.

Я плохо помню эти четыре дня перед их отъездом. Тур поселили в «Центральной», которая, словно для того, чтобы скрасить свою облупленность, отличалась просто устрашающим режимом, нечего было и думать ночевать там в чужом номере. Впрочем, в этом и не было необходимости: круглосуточная гульба шла в огромной мастерской одного стареющего либертена, художника, старьевщика и коллекционера, заставлявшего пожилого спаниеля Мишу вылизывать промежности сво-

им девочкам; спаниель, однако, принадлежал не ему, но его сожительнице и содержанке, давней подруге Димы, на которую тот и сбросил с удовольствием, иссякнув, всю компанию, — парижская невеста Ольга и впрямь требовала мужества, фантазии и душевной стойкости, — эта дама и стала распорядительницей карнавала, поскольку сам хозяин тогда был в отъезде.

Звали ее кто как — Галюша, Галчонок, Галка, только не Галина, была она очаровательной тридцатилетней женщиной со смеющимися карими беспутными глазами и телом рубенсовской вакханки — с широкими бедрами, крупными ляжками и грудями, узенькой талией, маленькими цепкими ручками, маленькими ножками, с барочным ротиком — малиновой трубочкой, с вечной усмешечкой на припухлых губах. Она носила только русские сарафаны — по летнему времени на голое тело, так они открывали роскошь ее шеи и плеч, — и была настоящим исчадьем мастерских, каковых сменила немало со своих семнадцати лет, когда убежала из дома, влюбившись без памяти в одного посредственного скульптора лет на двадцать старше себя, который потом покинул ее в связи с убытием на историческую родину; в отличие от моей жены, с которой у нас на июль был назначен развод, она имела не только папу, но и — беллетристический случай — маму-генерала. Едва мы всей компанией завалились в эту мастерскую, положение мое усложнилось, поскольку с этим самым Галчком у меня тут же завязался роман.

Что ж, Гуля через три дня уедет, и вряд ли мы с ней свидимся когда-нибудь. Я не чувствовал себя чем-либо связанным, к тому ж знал, что оставаться одному после

слишком долгого праздника — значит стать более одиноким, чем ты есть на самом деле. Почему-то всплывает в памяти сцена: шум, тарарам, льется рекой алкоголь, мы танцуем с хозяйкой, ее полные обнаженные руки лежат на моей шее, а пальцы щекочут затылок, мимо плывут стены, увешанные расписанными под лубок деревянными кухонными досками, на каких режут салаты, какая-то медная деревенская посуда, между лаптей и прялок мелькает нечто, напоминающее малых голландцев, и, кажется, ранний Куперман, тут я вижу Гулю — она сидит одна в углу дивана, показывает свои невероятные ноги, курит, смотрит прямо перед собой взглядом, который из-за близорукости не может ухватить мелкие детали.

Или вот еще: в один из дней мы оказались с Гулей в сумерках на Арбатской площади. Я хорошо запомнил, что именно на Арбатской, потому что и сейчас вижу ее долговязую фигуру на ступенях старого метро. Я чувствовал ту измученность, когда тебе приходится чересчур долго водить хоровод с какими-нибудь иногородними гостями; нет, я не мог бы сказать, что она мне надоела, хоть, признаться, мне несколько приелся наш механический, как швейная машинка, секс; просто меня утомила сама обязанность круглосуточного совместного времяпрепровождения, в которую, вообще говоря, я впрягся по собственной воле; к тому ж, хотя мы достаточно коротко сошлись, я не мог до конца освободиться от некоторой скованности с нею, ее иностранность, как ни крути, придавала даже нашему интимному общению привкус — как бы это сказать — некоторого протокола. Короче, мне осточертела эта натянутость, мне нужно

было расслабиться, я не чаял, когда она отправится в гостиницу, а я смогу рвануть в мастерскую к Галчонку, которая умела так лукаво предупреждать мужские прихоти, что общение с ней не требовало никакого напряжения: там я получил бы и душ, и крепкий чай, и возможность выспаться. От усталости я не мог пару раз сдержать раздражения, но Гуля после каждой резкости делалась только мягче со мной. Наконец она присела на ступенях здания метро и сделала жест рукой, приглашая присесть рядом. «Что ты хочешь сказать?» — грубо спросил я, мечтая от нее избавиться. Она продолжала сидеть. Это была одна из тех идиотских сцен, которые иногда происходят между малознакомыми людьми, когда они чересчур гонят картину. «Можно, — сказала она с робостью, которой в ней никак нельзя было предположить, — можно, ты возьмешь у меня денег?»

Нет, не само предложение оскорбило меня, а та жалость ко мне, с какой оно было сделано. Тогда мне представлялось, что она меня — вольного ходока, писателя с авансом — принимает за кого-то другого; на самом же деле в этом ее предложении было много материнского, ведь она была старше меня, много больше видела, и со стороны для нее я был совсем не тем, кем казался самому себе. Это-то и было самое обидное. Я повернулся и пошел прочь, бросив ее на этих самых ступеньках. Я взял такси, но уже на Садовом попросил повернуть назад, мы долго крутились, пока снова оказались на Арбате. На месте ее, конечно, уже не было. Потом я долго искал монету, чтобы позвонить из автомата, набрал номер, трубку взяла Ольга; она холодно известила меня, что Гуля в сортире; зная ее манеру, я не

стал принимать этот холод на свой счет. Сказал, что заеду за Гулей завтра после завтрака, сомневаясь — дождется ли она меня после сегодняшнего.

Утром, пока я стоял в холле, интуристовская гидша прогнала мимо табунчик наших старушек, и я успел подмигнуть своей знакомице. Появилась Гуля: она была свежа, ясна, обворожительна, я поймал себя на мысли, что наше восприятие очень меняется, стоит не переспать с подружкой две ночи подряд. Я обнял ее за плечи, она меня за талию, это было взаимным знаком, что о вчерашнем мы забыли. Я привел ее в ротонду над «Пекином», тогда там был очаровательный, всегда пустовавший буфет, где можно было пить кинзмараули, закусывать маслинами и смотреть на Москву на все четыре стороны. Она сказала, что утром говорила с Парижем. И что, пока она отдыхает в Союзе, у нее в квартире был обыск. Она сказала это буднично, без того романтического возбуждения, что охватывало наших диссидентов, когда им удавалось попасть в подобную передрягу. Я спросил, какого черта КГБ от нее нужно? И тут она залилась таким гомерическим хохотом, что мне показалось, она сходит с ума. «Это был Интерпол», — едва смогла она выговорить и, видя мое дурацкое выражение лица, объяснила, что у нее пару раз переночевали то ли члены Красных бригад, то ли бойцы Красного фронта — короче, те самые ребята, что терроризировали в тот год Западный Берлин. «Это просто знакомые по Сорбонне», — прибавила она, думая, должно быть, успокоить меня, что сама не берет заложников и не подкладывает взрывчатку в автомобили.

Трудно объяснить, но именно в этот момент я с невероятной ясностью понял, какая бездна разделяет наши миры. Это было мгновенное чувство ревности и отчаяния, какое испытывают дети, когда взрослые уходят в гости или в театр, а их укладывают спать. Потом оно сменилось стыдом: за наш маленький тусклый мир, за наши убогие праздники и опасности, за то, что мы вообще не умеем жить.

Скорее всего, она прочла это все у меня на лице. - И стала говорить о себе: удивительно, но за все это время я толком о ней так ничего и не узнал. Она рассказывала ровно то, что можно услышать от миллионов женщин в любом конце земного шара: о французском замужестве в девятнадцать, о талантах пятнадцатилетнего сына, о том, что много лет она любила человека, он женат, они пытались жить втроем, но из этого ничего не получилось, и о русском Париже, и о своем отце-картежнике, который, крупно проигравшись, оставил их с матерью, а нынче выращивает нежинские огурцы на огороде замка под Парижем, доставшегося ему в приданом новой жены. Она не разыгрывала меня, она показывала, что люди везде лишь люди, а потом, когда я расслабился, речь отчего-то зашла о Средиземном море, о Греции, о рыбаках, которые едят маслины с косточками, тогда как французы косточки оставляют, только обглаживают и обсасывают. «Как мы с тобой?» — «Как мы с тобой». Подходила к концу четвертая бутылка, и нам опять стало весело друг с другом. Перед тем как отправиться обедать, я водил ее на улицу Герцена, показывал знаменитый барельеф, на котором красногвардеец так удачно держит в кулаке древко револю-

ционного знамени, что в профиль отчетливо видно, как на самом деле он — мастурбирует. Тут стал накрапывать дождичек, и мы поспешили к Никитским воротам — посмотреть на писающий памятник Тимирязеву, и, действительно, из причинного места академика уже прыгала веселой дугой вполне солидная струйка... Наутро они улетели.

Кажется, я впервые был тогда в международном Шереметьево — только-только выстроенном. Тур еще толпился перед таможенной стойкой — по эту сторону границы, еще слышен был Ритулин басок с фистулой: «Мама, ну не нужно так, мама», и мамины сдавленные рыдания, еще договаривали что-то друг другу Ольга и Дима, и она, как всегда темпераментно, помогала себе жестами крупной сильной загорелой руки, еще обнимались мы с Гулей, но меня уже окатило отрезвляющее понимание, что сейчас предъявят они свои чемоданы, сейчас, прежде чем подхватить их, оглянутся на нас в последний раз, и занавес упадет, они вдохнут с облегчением воздух своего трудного и свободного мира, а мы, как рыбы на берегу, останемся дергать жабрами под своим советским колпаком. В последнюю минуту уже по ту сторону я увидел мою старушку: она то и дело прикладывала палец к уголку глаза, а потом долго вела им по щеке. Я тут тоже чуть не расплакался.

Звали ее, кажется, Жоржетта, и мы с ней успели-таки мимолетно соединиться — еще в Ялте. Она сама подошла ко мне с переводчиком и попросила перевести: у нее простуда, так что она остается на весь день одна в своем номере. Когда наша компания направлялась к лифту на пляж, я сделал вид, будто забыл что-то, и за-

катился в номер старушенции. Общего языка у нас не было, а я к тому же спешил. Ее тело — особенно грудь и ляжки — оказалось на удивление свежим, только ягодички были чуть дрябловаты; она была легкой, как девочка, и при смене позиций ею можно было вертеть и так, и эдак. Торопливо прощаясь, мы обменялись адресами. Уже в конце лета, к моему удивлению, я получил от нее первое письмо. Оно было написано под диктовку по-английски, а мне было велено отвечать, если хочу, по-русски: у Жоржетты есть кому перевести. Она была вдовой и жила в маленьком городке, а теперь, отлично помня все-все, ол сингс, просила прислать ей мою фотографию. Я что-то ответил ей, не помню — что. Через какое-то время она сообщила, что ее старший сын, член Национального собрания, будет в Москве с женой и она дала ему мой телефон. Конечно, с сыном мы так и не встретились, но я сообразил, что, должно быть, она вполне состоятельна. Случалось, в какие-то минуты я мечтал, что вполне мог бы на Жоржетте жениться. Мне представлялся увитый плющом старый дом в каком-нибудь городишке Верьер, одном из самых живописных во всем Фраш-Конте, с крышей красной черепицы среди купы каштанов, или в городке Тост, что на границе Нормандии и Иль-де-Франс, — живая изгородь из терновника, сад абрикосовых деревьев за глинобитной стеной, немного чахлого шиповника там, где под пихтами читает молитвенник гипсовый священник, — или, наконец, в Комбре, где я жил бы среди жимолости, жалости и милости: что ж, в конце концов она была старше меня немногим больше, чем лет на тридцать.

III

Дело шло к Новому году, и я опять торчал в Шереметьево-2 у таможенной стойки, на этот раз не наверху, но внизу, в зале не вылета, но прибытия. Самолет задерживался. У меня было время поволноваться и вдоволь наозираться вокруг. Встречающих было мало, видно, и пассажиров немного. Я все искал среди них топтунов — тогда топтуны нам мерещились всюду, а любимым занятием, даже своего рода хорошим тоном в среде и относительно приличных людей было вычислять среди собственных знакомых стукачей, — как увидел вполне невероятную, на мой взгляд, для этого места фигуру. Это был молодец лет семнадцати отчаянно порочного, подзаборного вида; одет он был не без претензий на урловую элегантность, в широко расклешенные грязного цвета, какой бывает только у советских тканей, штаны — такие клеши и мы носили десяток лет назад, — но с одной деталью, явно претендующей на высший шик, — обе штанины по низу были обшиты половинками металлической молнии; несмотря на мороз на дворе, поверх немыслимой рубахи с петухами был на нем лишь утлый клифт, но двубортный и с хлястиком, его здоровенные плечи явно в этот пиджачишко не влезали; рожа его, невероятно тупого выражения, была испещрена красными блямбами недавно выдавленных прыщей, в углах толстых мокрых губ торчали пучки соломы, а стриженная под кривой горшок башка казалась пегой и блестела — может быть, он мазал волосы подсолнечным маслом для пущей укладки. В руках он держал точно такой, как у меня, букет красных гвоздик в

мокром от снега целлофане, точно так же робко вглядывался в неведомые приграничные глубины, и оловянные его глаза пугливо шарили, как и мои, как если бы его впервые послали на квартирную кражу. Нет, он не мог иметь родственников за границей, убей бог — не мог. Как и я.

У меня было достаточно времени, чтобы вдоволь насладиться нашим сходством. Конечно, в этом двореке мы жили с ним на разных этажах, но здесь, перед лицом Запада, так сказать, у меня не было особых оснований считать, что я сильно от него отличаюсь. Мне только любопытно было взглянуть на особу, которая за свои кровные фунты стерлингов — рейс мы ждали из Лондона, так был на этот раз выбран тур — летит в холодную Россию встречать Новый год с эдаким кавалером. И я эту особу увидел. Ни до, ни после я не видел таких изящных мужчин. Это был лорд. Это был человек, на расстоянии распространявший вокруг запах богатства, изящества и неги. Сияя, распахнув руки, он пересекал пространство, отделявшее пограничную стойку от таможенной, оставив позади других пассажиров; бросив что-то таможеннику по-английски, он оказался по эту сторону, его изумительную улыбку заволкло набежавшей волной слез, за шаг до объекта он вдруг застыл и прикрыл глаза, потом чуть качнулся вперед и робко потерся холеной сидящей головой о прыщавую щеку. Мой малец стал пунцовым и все совал лорду цветы, тыча тому под дых кулаком с зажатым букетом. Я был так заморожен этой сценой, что не сразу заметил Гулю, машущую мне издалека глянцевым, свернутым трубкою журналом.

Телеграмму от нее я получил два дня назад. До того были письма — нежные, благодарные. Конечно, сама наша переписка предполагала встречу когда-нибудь, но то, что она решила провести со мной Рождество, было для меня полной неожиданностью. На ней была невероятной красоты лисья шуба до пола, светлого золота с белым подшерстком, а концы ости в искусственном неоновом свете отдавали серебром. Непокрытая ее светлая голова грациозно поднималась из этой сверкающей рыжей тучи, и издали светили ясные близорукие синие глаза.

С таможеней у нее возникли проблемы. О чем она говорила с молодым таможенником, мне не было слышно, я видел лишь, как она что-то азартно доказывала, не глядя на меня, разворачивала журналы и трясла ими у того перед носом. Пришел другой, постарше, и вопрос был решен — не в Гулину, кажется, пользу. Она махнула рукой с досады, подхватила два своих кофра, которые таможенников не заинтересовали, и ступила на русский берег. После лобзаний она взглянула на меня лукаво: отлично я им сделала, сказала она. Оказывается, пара «Плейбоев» и «Пентхауз», за пронос которых на целомудренную советскую территорию и шла борьба, были прихвачены ею для отвода глаз; на самом деле в одном из кофров ехала подпольная по тем временам литература: два толстенных тома отца Булгакова, несколько компактных бердяевых и последний номер «Континента» — все купленное перед отлетом в магазине «Имка-пресс». Я поблагодарил, конечно, но она заметила мое недоумение и пояснила, что именно эти книжки заказывал Дима у Ольги, и Гуля решила, что мне

тоже будет приятно их иметь. Бердяев у меня уже был, чтение «Континента» навевало всегда на меня такую же тоску, как чтение «Октября», а отца Булгакова, каюсь, я так и не смог осилить. Так что и Булгаков, и Бердяев, и даже «Континент» были мною потом загнаны по довольно приличным ценам и, должно быть, обеспечили ресторан и выпивку; полагаю, Дима поступал с Ольгиными книжками так же, если вообще эти книжки, стоявшие в Париже изрядных денег, когда-нибудь к нему приезжали: Ольга предпочитала посылать ему барахло с блошиного рынка — мерд о пюс, говаривала Гуля, — которое он и реализовывал, и один из Гулиных баулов как раз и предназначался Диме. В «икаруссе», куда я забрался на правах родственника, мы еще посмеялись над Гулиной хваткой партизанки, но за болтовней я все прикидывал, как бы половчее посвятить ее в мои текущие обстоятельства. Дело в том, что за истекшие полгода в моей жизни кое-что изменилось: я развелся и был свободен, я выпустил книжку, я снял удобную дачу во Внуково, и шампанское держал в сугробах по периметру строения, и все бы хорошо, когда б через неделю после Гулиного отъезда летом в маленькую комнату в полувыгоревшей коммуналке на Новослободской, которую я снимал под кабинет, с чемоданом и спаниелем Мишей, ко мне не пришла Галчонок, и, как это часто бывает, когда женщина приходит к вам с чемоданом, она несколько задержалась и сейчас на даче готовила роскошный пир. Дело в том, что ее сожитель-художник тоже собрался в землю обетованную, и ее с собой тоже не брал, поскольку для этого он должен был бы на ней жениться, а вот жениться-то, как он объяснял, он со-

вершенно не хотел; впрочем, я не оставался в накладе — Галчонок оказалась превосходной экономкой, веселой, предусмотрительной и ловкой в трате денег, а к неожиданной Гулиной телеграмме отнеслась с полнейшим пониманием, даже не без азарта. Оставалось лишь ознакомить с положением дел Гулю, которая еще неизвестно как — при всей ее широте и практике жизни втроем — отнесется к этому раскладу; конечно, мне нетрудно было бы сделать вид, что происходящее, с моей точки зрения, совершенно естественно, вот только у меня все же были сомнения, что Гуля, знай она об этом наперед, не нашла бы иное, чем Внуково, место, где могла бы повеселиться в новогоднюю ночь за те же деньги. Пока мы ехали до отеля, я так ничего ей и не сказал.

Поселили ее на этот раз в «Интуристе» на Горького. В холле делегация каких-то скандинавов вылупила на Гулю глаза, и все мужчины группы как по команде повернулись и проводили ее взглядами. Шведы, сказала Гуля и пояснила: они смотрят не на меня, они смотрят на шубу. Вид действительно был сногшибающе шикарным.

— Нравится? — спросила она, и мне не пришлось имитировать восторг.

— Отлично, я привезла ее тебе на Рождество!

Это было чересчур; пока она приводила себя в порядок в номере, я отпросился в бар — выпить. Шубы, конечно, брать было нельзя, но не в шубе дело: кажется, Гуля была настроена весьма серьезно. Конечно, у меня был запасной вариант; мой товарищ Женя, владелец двухкомнатной квартиры, обещал мне приют, и я

был уверен, что они с Гулей друг другу понравятся. Но не мог же я податься в бега и спрятаться на весь срок Гулиного тура: на Новый год были приглашены гости, да и Галчонок ждет меня на даче — точнее, ждет нас. Что говорить, сами знаете, какая морока и тоска запутаться между двумя женщинами, ни одну из которых ты не готов потерять.

Прошло не меньше часа, я допивал третий бокал шампанского, но Гуля все не спускалась; я отправился за ней. Едва я вышел из лифта на ее этаже, ко мне подбежала перепуганная дежурная.

— Ваша родственница, — говорила она, задыхаясь, — она вас ищет... она выходила в коридор...

Я не понимал, что ж такого сенсационного, если постоялица в поисках кузена выходит в коридор.

— Да, но она выходила... голая, — сказала дежурная. И добавила: — Она плачет!

Дверь номера была не заперта. Гуля в одном белье лежала на кровати и действительно рыдала. Но тихо, так, чуть поскуливала. На мои расспросы она откликнулась: «Ты ушел, ты даже меня не обнял, ты сразу гулять по блядям»... Я взглянул в нее, я принял: анашой не пахло, значит, она то ли катала шары, то ли, что было бы много хуже, успела уколоться. Последнее предположение, по счастью, оказалось неверным. И таблеток она не брала: за тумбочкой стояла большая бутылка «Бифитера» со свернутой головой. И никаких следов тоника. Конечно, я ее утешил; я обнял ее, как она хотела; я и себе плеснул джина, поскольку испытывал легкую панику. При всей ее экстравагантности, для столь бурных переживаний у нее должна была быть веская

причина. Причина была связана со мной и с ее приездом: она вела себя как человек, на что-то решившийся. От сантиментов ее бросило в торжественность, и, не слушая моих увещеваний, она заказала ужин в номер: икру, шампанское, севрюгу. Впрочем, она и не подумала одеться, когда официант вкатил в номер столик, — только завернулась в простыню. По первому бокалу она захотела выпить на брудершафт, хоть мы и были с ней на ты и вполне знакомы. Чуть дурачась, мы, выпив, принялись целоваться, хоть я сидел как на иголках: местный персонал знал, что у них на этаже советский гость; в этих случаях они вели себя вполне предсказуемо: хорошо, если дежурная для начала попытается меня выставить, а обращение к спецслужбе оставит на потом, — как правило, они, страхуясь, поступали наоборот. Гуля почувствовала, что я волнуюсь, но истолковала это по-своему: она налила еще шампанского и церемонно подняла бокал.

— Я решила тебя вывезти, — заявила она.

Я не сразу понял, что она имеет в виду, мне на секунду представилось, что у нее созрел план моей транспортировки в чемодане с двойным дном или в багажнике автомобиля; и я автоматически пошарил глазами по потолку — отчего-то у меня сложилось твердое представление, что микрофоны для прослушивания в отелях должны находиться именно там, и детекторы на случай пожара вызывали мои стойкие подозрения.

— Я их ебать, — перехватив мой взгляд, сказала Гуля. И пояснила, что я не должен волноваться, с сыном она уже поговорила; сын все понимает, он не против. И тут она с ожесточением принялась перечислять, что

нужно делать: идти во французское посольство с тем, чтобы они послали объявление о предстоящем браке в париж-скую мэрию; идти в бюро переводчиков с тем, чтобы они перевели решение парижского суда о ее разводе; идти в нотариальную контору, потом в загс, — она вытащила бумажку, на которой у нее были расписаны все необходимые шаги, а заодно продемонстрировала какой-то солиднейший документ с гербовыми печатями, свидетельство о расторжении ее брака, как оказалось. Зазвонил телефон по мою душу. Я взял трубку и сказал дежурной, что сейчас же удаляюсь. Дело принимало скверный оборот. Мне стоило труда заставить Гулю одеться, собрать все необходимое в отдельную сумку: она сопротивлялась, она хотела еще шампанского, а на КГБ хотела срать и срать. Когда я вел ее мимо стойки, рядом с дежурной стоял человек в штатском. Он не стал нас задерживать, и мы благополучно выбрались из отеля. Нашли такси и поехали к Жене в Кунцево; ехать было долго, к моему облегчению в машине, Гуля задремала. Глупо, конечно, но мне захотелось на дачу к Галчонку, а жениться не хотелось вовсе: странно — о чем о чем, но о браке с Гулей я никогда не думал. Мне вдруг стало хорошо на родине. Это был шанс, долгожданный шанс, но мне не хотелось его использовать. Я был доволен зимой, дачей, я писал новую книгу, я жил с женщиной, которая, как и я, родилась в этом городе. Это был шанс, и я понимал, конечно, что еще не раз о нем пожалею... Когда мы проснулись на следующее утро на низкой неудобной тахте в комнате, где обои отставали от стен, где стояло ободранное пианино, куда хозяин сыпал махорку от моли, прямо над нами были прикно-

плены рисунки Рустама и посреди красовалось единственное кресло, в котором, задрав колени, в ученических тетрадочках, положенных на книжку или специальную дощечку, складывал Женя свои, записанные бисером вкривь и вкось, виртуозные тексты, я ей кое-что объяснил. Надо отдать Гуле должное — она отнеслась к услышанному совершенно спокойно. Сказала лишь, что ее вчерашнее предложение остается в силе, а что встретить Новый год с моими друзьями и с моей подругой будет очень рада. Я был благодарен ей; я сделал нам троим завтрак; я разносил шампанское, я попросил Женю — и он читал нам стихи; было тридцать первое, и нам нужно было собираться в дорогу, и все, кажется, складывалось как нельзя лучше.

Заплакала она только к вечеру. Все уже сидели за столом, но был включен телевизор, показывали программу «Человек и закон»; сюжет был в том, что директор вагона-ресторана украл из подведомственного ему предприятия торговли на колесах пару ящиков сгущенки и столько же, кажется, мясных консервов; тут-то Гуля и разрыдалась. Гости конфузливо косились на нее, но она объяснила, что у них во Франции на всю страну стали бы показывать лишь человека, который, к примеру, зажарил свою бабушку, но никак не украл свиной тушенки, — и у меня возникли опасения, что она определенно разочаровывается в левой идеологии.

Впрочем, новогодняя ночь прошла чинно и уютно, вот только ложиться спать не пришлось: глупо было бы, если б я разложил своих дам порознь, а сам улегся в третье место. Так что часов около пяти мы втроем — Гуля, Женя и я — отправились в Москву на электричке.

Помнится, был нереальный снегопад, пьяная легкость от бессонной ночи, праздничное чувство начала не нового года, но как будто нового мира, и радостное переживание того, что мы в России. Может быть, мне смутно мерещилось, что я должен открыть Гуле эту страну — объяснить ее мороз, и снег, и колдовскую власть и тем самым оправдаться, смягчить свой отказ, дать понять, что дело — не в другой женщине, но только в этом снегопаде, в кружении морозной пыли над пустыми полями; я предложил выйти в Переделкино, и мы попали к заутрене. Уже бледно рассветало, но свечи внутри церкви горели, будто в темноте. Как ни странно, было много молодых лиц, и священник был молод, до Рождества оставалась еще неделя. Женя сосредоточенно молился, а я поставил несколько свеч — за Гулю, и тоже перекрестился на икону Божьей Матери.

Идея идти на могилу Пастернака принадлежала, как это ни странно, Жене. Я никогда не был поклонником этого ритуала, а три сосны как три подруги вызывали у меня просто приступы отвращения, хоть поэт, конечно, в том был не виноват. Впрочем, у нас с собой было несколько бутылок крепленого крымского хереса — этот самый херес, и вяжущий его вкус на морозе я хорошо помню. Пробираясь на кладбище пришлось чуть не по пояс в снегу, так что мы то и дело устраивали привалы, вкушая вина из горлышка. Здесь же меня настигло чувство, как все прочно в этом мире — все, за исключением нас, бранных, — и как ничто не изменилось за двадцать лет, когда автор нелюбимого мной стихотворения так же, едва после рассвета, шел к ранней электричке, и внутренне содрогался от восхищения сво-

ей беспутной родиной, и, взглядываясь в простые лица, с умилением вдыхал запахи черемухового свежего мыла и пряников на меду...

Последние дни Гулиного пребывания в Москве прошли у нас в пьянстве: мы почти не выходили из квартиры Жени, мы говорили и говорили, вернее, очень много говорила Гуля, и мне подчас казалось, что она, русская космополитка и не слишком счастливая женщина, и приехала, может быть, в Москву поговорить. Они трогательно сошлись с Женей, и тот подарил Гуле свою гитару — как только она заикнулась, что всегда хотела иметь семиструнную. Бедный Женя, потом он долго эту самую гитару оплакивал и, кажется, даже отразил эти воспоминания в каком-то из своих писаний. Сам он играть не умел, но инструмент этот был ему очень нужен: в те годы все мальцы поголовно бренчали на гитаре, и очень даже удобно было попросить его для начала что-нибудь сбацать, сделать вид, что понравилось, и малого похвалить.

Ближе к отъезду Гуля стала явно сдавать. Она судорожно то и дело тянулась за рюмкой, пила еще больше обычного, потом вдруг откидывалась на подушку и засыпала на полуслове, но едва мы с Женей выходили на цыпочках, прикрыв дверь, как звала нас обратно и требовала еще налить. Конечно, она устала, мудрено было не устать, но в то же время лихорадило. Она то и дело принималась говорить нам, что давно мечтает продать свой кабинет в Латинском квартале — продать вместе с практикой и клиентурой, а самой уехать в Камбоджу или Африку врачом — ну хоть в составе Корпуса мира. Рассказывала, что прошлое Рождество встречала

на высокогорном курорте в Швейцарии, видимо, курорте весьма дорогом, раз публика в ресторане привела ее в такое неистовство, что она вылезла на эстраду, отобрала у певицы микрофон, покрыла присутствующих русским матом и запела «Интернационал». «Эти свиньи тоже запели», — вспоминала она с понятным раздражением. Когда Женя, после долгих консультаций со мной, деликатно попросил ее захватить с собою кое-что из его писаний и переслать по адресу, она с жаром взялась это поручение выполнить. Это сейчас Женины тексты широко распечатаны по обе стороны границы, а сам он признан законным наследником Кузмина, но тогда у него не было никакой надежды опубликовать ни строчки из своих гомосексуальных исповедей, и при жизни — он умер через три с половиной года — он никогда не видел себя напечатанным. Гуля, по-видимому, решила, что речь идет о текстах, безусловно для режима подрывных, а значит, весьма опасных, и отнеслась к делу с серьезностью завязатого конспиратора, — ход ее был прост, самым эффективным оружием против таможни она избрала и самое легкое для себя — смертельно напиться.

Перед посадкой в автобус она выглядела уже достаточно пикантно: в своей богатой шубе, с мутными глазами, с семиструнной гитарой и качающаяся. Подоспел и Дима — весьма бриннеристый в дубленочке и сапожках, но по-прежнему и чегеваристый. Он принес, чтобы передать Ольге, — пятикилограммовую металлическую банку черной икры. «Ольга потом продавала икру в ресторан, и Дима получал очередную посылку с мерд о пюс», — пытался Гуле объяснить, что икру надо ставить

в сумку боком и перпендикулярно ходу движения багажа перед просвечивающими устройствами, но Гуля отвечала кратко «срать», и Дима лишь попросил меня в случае, если это будет возможно, привезти икру обратно в Москву, и отдать ему, Диме. Я пообещал.

Мы с Женей ввели Гулю в автобус, усадили назад, подальше, и едва тронулись, как она потребовала отхлебнуть еще коньяка. Все шло в общем-то неплохо, если бы где-то за кольцевой, в чистом поле Гуле не приспичило сходить в туалет. Никаких увещаний, что ждать осталось немного, она и слышать не хотела, но тянулась к кнопке звонка водителю. Наконец тот не выдержал и остановился. Страшно качаясь, Гуля выбралась на дорогу: нигде не кустика. Она упала в кювет, проплыла кролем метра три по рыхлой целине, поднялась на ноги, задрала свою лисью шубу, спустила штаны, сверкнула ее белая попка, но тут она присела, и попка глубоко окунулась в снег. Биде а ля рюс, сострил кто-то, автобус захохотал, напряженность несколько спала.

Мимо таможенников товарищи по туру несли ее под руки. Она не в силах уже была расцеловаться с нами, хотя, когда ее прислонили к пограничной стойке, вдруг встrepенулась и стала из последних сил махать прощально рукой, но не нам, а куда-то в сторону. Тут гитара со страшным звоном хлопнулась на каменный пол, но, кажется, не раскололась. В одном она оказалась права: никому и в голову не пришло досматривать ее багаж, так что и Димина икра, и Женины сочинения благополучно пересекли границу...

Долго от нее не было ни слуху ни духу. И только весной не я, но Женя получил глянцевую открытку. Была она не из Кампучии и не из Африки, а с Майорки: нечто отдаленно похожее на Ялту, только ярче море, ярче небо и отель на переднем плане явно пошкарнее. На другой стороне было начертано:

ЖИЗНЬ ЭДИТ В СОВСЕМ ДРУГУЮ СТОРОНУ.

Именно так, печатными буквами.

Я же от нее больше никогда не получил ни строчки.

глава VIII

ПРИБЛИЖЕНИЕ В ХОРОВОДЕ

Я высчитываю свою жизнь семилетиями — как Толстой, который, в свою очередь, научился этому, кажется, у буддистов, а те, по-видимому, приладились, наблюдая за периодичностью активности дневного светила, — так или иначе, в ту весну я испытывал немалое смущение, приближаясь к концу своего четвертого цикла. Для волнительных ожиданий каких-нибудь перемен у меня были кое-какие статистические основания — всякий раз в роковой, кратный семи год что-нибудь со мною да происходило: то в семь лет я заболел стригущим лишаем, трихофитией, если выразиться по-гречески, и очутился в больнице, опоздал в первый класс, очень отстав от сверстников по чистописанию; то в четырнадцать впервые переспал с женщиной — тоже событие, как ни крути; в двадцать один по представлению парткома факультета при неясных сопутствующих

обстоятельствах меня отчислили с четвертого курса университета, едва не забрили в армию и даже — пусть всего на несколько дней — посадили в Бутырскую тюрьму; сейчас я закончил новый роман, о котором в редакционном заключении сказали, что печатать его нельзя, пока автор не сменит идейно-художественные установки, получил официальный статус литератора, что упрощало взаимоотношения с милицией, и собрался таки уезжать, но собирался лениво, все откладывая — вот закончу еще один текст, еще одну весну перекантуюсь... Погоняя судьбу, однако, я стремился, конечно, приблизиться к Западу и в конце марта сорвался с привязи — в Литву, очутился в Паланге, где засел в маленьком, но вполне пристойном номере — с сидячей ванной, казенным радиоприемником и видом на кроны сосен, — за следующую книгу — ее-то мне и предстояло в свое время лишиться. Впрочем, судьба нового сочинения сразу не задалась: я начал писать без плана, во многом наобум, вслед за кистью, не поймал тона, но продолжал двигаться напролом, не знал еще, что трудолюбие и усердие — не первые добродетели в писательском ремесле, верил на слово Хемингуэю и сам себе выдавал увольнительные за выполненную работу, пусть дурно, но в полном объеме. Впрочем, кое-что из написанного тогда вошло в окончательный текст, но позже все черновики, планы, заметки и почти готовую рукопись, наряду с многими бумажками, накопившимися за пятнадцать лет сочинительства, замели на обыске, так что сегодня я могу лишь процитировать по памяти два эпиграфа, которые были предпосланы сочинению и прозрачно говорили, что не в последнюю очередь моим

пером водила клаустрофобия. Первый из Монтеня, что-то вроде: я так люблю свободу, что не могу представить себе существование людей, которым закрыт доступ в большие города; и будь мне заказан въезд в какой-нибудь уголок где-нибудь в индийских землях, я и тогда почувствовал бы себя в некотором смысле ущемленным. И помета: XVII — дань нашему национальному самоуничижению. Второй — пророческий — из Достоевского, реплика генеральши Епанчиной: довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить; и вся эта за границей — одна фантазия, помяните мое слово — сами увидите!

Дело было за полтора года до московской Олимпиады, и в этот самый Дом со всех концов державы свезли художников-прикладников из молодежи до тридцати пяти — таков был верхний порог, установленный художественной мафией для членов так называемой молодежной секции, своего рода отстойника для чрезмерно скорых дарований, норовивших прорваться к кормушке госзаказов, что только и обеспечивало в мире пластических искусств относительно сносное существование, — самостоятельно продавать свои изделия иностранцам тогда решались лишь самые отпетые, а местные любители, если что-то и покупали, то могли заплатить копейки. В Паланге их собрали — в расчете на молодые сообразительность и желание кушать — чиновники из Худфонда и Минкульта — выдумывать олимпийские сувениры, которые потом предполагалось втюхивать олимпиадным гостям за твердую валюту. И прикладные честолубия, надеясь урвать призрачный

приз, слетелись на халяву. Были прикладники почти сплошь не юными, но, скажем, молодыми дамами — разнообразных колеров глаз, мастей и габаритов: две ленинградки, чуть заступившие, кажется, возрастной молодежный предел, — по текстилю; киргизка — шитье по кошме; узбечка — орнаменты для ковров; таджичка — линогравюра; казашка — по металлу; грузинка — по фрескам; армянка — по чеканке; азербайджанка — по дизайну; украинка — по гобеленам; белоруска — изготовление кружев; молдаванка — по рушникам; латышка — ювелир; целых три эстонки — по керамике; патриотически настроенная дама из Вологды — плетение лаптей и выжигание по бересте; застенчивая девушка, по национальности селькупка, создавшая какие-то народные инструменты с инкрустацией, я бы сказал — свистки; а также кузнец из Ашхабада, и несколько лет подряд в закоулках письменного стола мне попадались потом клочки бумаги с нацарапанным на них невоспроизводимым именем и пятизначным номером, — по-видимому, свой телефон кузнец мне записывал несколько раз; не было в команде только литовок, но мы находились в Литве, возможно, у них было свое отдельное место сбора. Помимо этой компании в Доме обреталось какое-то количество шахтерских персон из Донбасса, они не выходили за порог, днями играли на бильярде, а ночами глушили горькую, а еще — миниатюрная, как травести, балерина из Киева с печальным мужем в коже — ее балетмейстером и, по некоторым признакам, неудачливым гомосексуалистом; так что, не считая туркмена, я оказался здесь единственным представителем интеллигенции мужского пола с гетеросек-

суальными наклонностями — и в центре интернационального женского коллектива, как инструктор на среднерусской турбазе.

Иногда после работы я приглашал на прогулку двух-трех из них, остерегаясь вне постели оставаться с какой-нибудь одной слишком долго наедине, но чаще отправлялся в одиночестве слоняться по пустым улицам. Бывало солнечно, городок — чист, воздух полон особого приморского света; в холодном подвале к пиву давали черные соленые сухари, в кофейне на несколько столиков варили густой кофе по-турецки, в стеклянном павильоне на набережной угощали местной целебной водой, на г-образном пирсе, носом указующем на Швецию, торговали бусами грубо ограненного черного янтаря; чайки караулили полосу темной воды, оставленную отошедшим от берега льдом. Это был не загаженный как бы по недосмотру, по российской необязательности и социалистической неэффективности, ухоженный западный уголок империи, и скольким русским мальчикам эта полоска прибалтийской земли когда-то представлялась Западом, ведь до Запада и впрямь было рукой подать. Даже осовеченная, эта земля дышала памятью европейских лет: костел здесь состоял в дальнем родстве с готикой, улицы имели понятие о стиле югенд, физиономии частных коттеджей и вилл хранили честную мину, их интерьеры гордились знакомством с бидермайером, и даже крестьянские лица жителей этой маленькой страны, чуть удивляясь сами себе, выражали нечто, отдаленно напоминающее бюргерские ганзейские добродетели. Кажется, сама атмосфера, сам дух неродной опрятности заставлял внутриконтиненталь-

ных разноплеменных скифов бросать окурки не мимо урны, пить настоящий на травах бальзам не стаканами, но вместе с кофе, тянуть из уморительно мелковатых рюмочек ликер «Бочу», а в ночной ресторан являться в пиджаке и галстук — хотя бы ради невиданных ночных эротических зрелищ, что предлагало по пятницам местное варьете. Конечно, тайное чувство восхищения омрачалось досадой, отчего ж в этом месте не делают все шалей-валяй, не живут на авось, но повседневно заботятся о том, чтобы можно было комфортно дышать, сами себя любят, и не угадать русскому глазу — а отчего, собственно, и за что, ведь они такие же...

В Доме мы быстро обжились; все проникнулись духом западной умеренности и терпимости, почти не было места грубым азиатским страстям. Одна из эстонок — раскрашивание сервизов, — тоненькая, с очень пухлой нижней губой, по имени Эве, все рассказывала, как была замужем в Финляндии, а на вопрос, отчего ж она вернулась, отвечала, что не все потеряно и она теперь собирается замуж за его друга. Казашка — по металлу, помнится, едва притронувшись, починила мои ножницы для ногтей, распавшиеся, было, на две половины, — у нее были маленькие сильные руки, сухой плоский таз и имя Анна, вовсе не казахское. Текстильщица-петербуржка, та, что чуть помоложе, любила вспоминать, какая она добрая жена; узбечка — по орнаментам — избегала традиционных способов, самообольщаясь, кажется, что она еще девица, но была предупредительна, часто интересовалась, не мешает ли мне ее запах, — она и впрямь, потея, пахла чересчур пряно, чем-то вроде гвоздики; грудастая армянка-

чеканщица действительно оказалась девушкой в свои двадцать восемь лет; горянка-таджичка все писала письма возлюбленному, летчику Аэрофлота, тоже таджик; белоруска была замужем, но без любви, я у нее был второй, и после коитуса она частенько тихо и благодарно плакала; азербайджанка — по дизайну — показала себя корыстной, не однажды была уличена в использовании чужих кистей, а грузинка — по фрескам — настоящей артисткой, она хохотала, когда я ее целовал, а потом вдруг картинно откидывалась и щурилась, будто чему-то очень удивляясь; коварнее других зарекомендовала себя молдаванка, тонконогая и злая, у нее было не в порядке с желудком, она интриговала против латышки, большестопой девки с очень длинными ушами, оттянутыми собственного, видно, изготовления чудовищными серьгами, к тому ж была склонна к левым ходкам, но всякий раз, когда ее застигали у подъезда после полуночи и с посторонним лицом, заносчиво утверждала, что сколько ни было у нее мужчин, все курили ей мифирамбы; прикладница-патриотка любила декламировать лирические стихи, к тому же едва я намеревался в нее кончить, как она заводила гортанным голосом приторную воркотню: у-тю-тю-тю-тю, будто звала гуся, и сперма застревала где-то посередине, как кусок в горле. Кузнец-туркмен играл по вечерам в своем номере на селькупских свистках — очень заунывно, а балетных мы в семью не брали, хоть дюймовочка почти совсем незаметных пятидесяти лет все норовила пристроиться, пока ее кожаный муж пропадал в бильярдной, хоть она и пророчила ему во всеуслышание, что рано или поздно он будет там побит. Я тоже иногда со-

ставлял партию кому-нибудь из шахтеров, которые все как один кричали на катящийся шар «стоять» и свирепо добивали подставки — под ненавязчивые аплодисменты балетмейстера. Короче, мы вели облагороженную воздухом Балтии чинную жизнь, слегка патриархальную и монотонную, как в стане Иакова; в порядке развлечения, то одной, то другой из моих прикладниц я предлагал идеи сувениров, но, кажется, в этом деле царил какой-то негласный канон, во всяком случае, они все очень серьезно относились к своему олимпийскому проекту, может быть, не только в надежде выбиться и заработать; кажется, каждый из нас тогда связывал с этой самой Олимпиадой полусознательные надежды, ведь это должно было стать событием мирового масштаба, что не могло не льстить нашим чувствам провинциалов. Мы полагали, что Олимпиада сделает — пусть ненадолго — Москву столицей мира, железный занавес разорвется, как ветошь, уже через девять месяцев в ближнем и дальнем Подмосковье будет полным-полно разноцветных младенцев, и геронты-властители, утирая слезы умиления, скажут своим подданным: ребята, обнимитесь же со всеми, какие ни есть на нашей маленькой Земле, народами; и сократятся расстояния, и каждый услышит песню далекого друга, как уже было однажды, хоть и не вполне удачно. Кто мог знать тогда, что мрачная паранойя властей уже зашла так далеко, что усилиями КГБ многомиллионное население столицы так и не встретится с тысячами иностранцев, и только «икарусы» «Интуриста» будут шнырять по пустым улицам, где на каждом углу торчат по нескольку милиционеров, среднеазиатской наружности преимущест-

венно. Короче, я не бывал допущен до таинств прикладных олимпийских искусств, хотя, скажем, моя идея, которую я все подсказывал Эве, расписать керамический сервиз на тему советской женской тяжелой атлетики в стиле, среднем между Рубенсом и Дейнекой, была и не так плоха; мне оставалось лишь возвращаться к своей машинке и листкам будущего злополучного свободолобивого романа.

Впрочем, мне, вспоминается, все не давал покоя недокомплект моего интернационального, хоть и в строгих рамках тогдашнего Союза, гарема; тяга к завершенности и наивная любовь к простой симметрии — вот что заставляло меня присматриваться и к литовкам: уж коли прикладниц не досталось, то к многочисленной челяди нашего Дома, и прежде других — к библиотекарше, стоявшей, мне казалось, ближе к российской словесности, высокой прыщавой девушке лет девятнадцати, несколько саблезубой и с такими же ногами, длинными и изо-гнутыми на манер клинка; эту затею я оставил, зайдя как-то после завтрака в библиотеку и застав на низкорослом столике для периодики алый мотоциклетный шлем; его обладатель не был, как выяснилось, читателем, потому что в прогале стеллажей я обнаружил хозяйку, припертой спиной к полкам с классиками, с задранной юбкой и алой, как шлем поклонника, рожей; впрочем, рейтузы с начесом были на месте, как и его штаны, он лишь, крепко ухватив руками ее костлявые бедра, со спортивной неутомимостью бил в нее своим пахом, и оба громко пыхтели, занимаясь столь откровенной халтурой. Взоры мои обратились к столовой, благо, там я бывал чаще, чем в библиотеке, где в

одной из двух смен служила прехорошенькая официантка-блондинка, крепенькая, с крепкими толстыми быстрыми ножками, обтянутыми темным капроном, со вздернутой на заду юбчонкой и вертлявыми бедрами; впрочем, как часто бывает, готовность к детопроизводству нижней части ее тела не находила должного отклика у верхней, она была совсем плоскогруда, но зато с выпяченными губками, с нежной голубоватой кожицей на шее под подбородком, улыбчивая и с плутоватыми глазками. Признаюсь, мои пассы и заигрывания имели мало успеха; она ведь не была прикладницей, не имела отношения к культуре, устойчиво стояла на крепких ножках на собственной земле, а мы были для нее — приезжие, лишь временные постояльцы, быть может, — и я, и туркмен, и шахтеры — на одно лицо; нас было много, а она одна, и для бесхитростного ума такое положение дел соблазнительно, оно порождает уверенность, и этим часто страдают работницы из obsługi, диспетчерши автобаз или сотрудницы военкоматов, что эта единственность — не результат обстоятельств, но сама суть дела, и как часто такие девушки оказываются разочарованы и несчастны; короче, мне приходилось пробавляться подобными мстительными соображениями, ибо, кажется, шахтеры могли рассчитывать у нее все же на больший успех, а может быть — кто потрезвее — и пользовались таковым. Было обидно, но не впервой: мне хронически не везло со служительницами сервиса — ни со стюардессами и парикмахершами, ни с представительницами иных практических профессий, и иногда я с горечью сознавал, что, по-видимому, обречен влачить свои дни в компании с женского пола чле-

нами разнообразных творческих союзов. Лишь однажды мой комплимент если не достиг, то коснулся цели: она созналась, что ее зовут Гражина, томно ухмыльнулась и зачем-то добавила: а сестру — Мэйле.

Забавно, но эта самая Гражина, даже когда она не работала в столовой, что ни день стала попадаться мне на глаза. То я встречал ее на улице, и в ответ на мой поклон она тоже склоняла голову набок; то ночью застал в большой компании за столиком кабаре, и она посмотрела сквозь меня пустоватыми серыми глазами; наконец, как-то днем я встретил ее в кофейне — вид помятый, губы как в лихорадке, под глазами тени; она сидела за соседним столиком, вся в косметике и какой-то дешевой бижутерии, и, по-видимому, никуда не торопилась, хоть через час ей предстояло кормить нас обедом, а с ней за столиком, спиной ко мне, сидел некто в коричневом кожаном пальто, далеко навалясь на стол и выдвинув вперед правый локоть, низко держа голову, будто подглядывая снизу, и мне было видно, как шевелятся его тонкие пальцы с чистыми ровными ногтями, все оглаживавшие волосы на правом виске. Она же была беспокойна, смотрела мимо него, несколько раз встретила со мной глазами, и тогда тяжелые от туши ресницы тут же опускались — с усталым кокетством. Кто знает, может быть, только на работе она не позволяла себе заигрывать со мной; или таким образом хотела подразнить партнера. Так или иначе — я подмигнул ей.

Тут произошло странное: ее партнер резко дернулся, — я, когда трезв, обладаю подобной чувствительностью, — повел головой, словно определяя источник

принятого сигнала; потом, не оборачиваясь, что-то крикнул хрипловато по-литовски: барменша тут же вышла из-за стойки и поставила перед ним очередную рюмку коньяка, хоть было здесь, замечу, самообслуживание. Гражина — на мгновение она показалась мне исполненной обмана и опасности — сделалась еще более томной, хоть это плохо маскировало ее испуг. Полно, она ли это, откуда этот странный блеск глаз, эта манера загадочно улыбаться, не разжимая губ. Видно, он перехватил ее взгляд и тяжело повернулся: красное лицо, темные подглазья, но, тем не менее, он был несомненно смазлив, чересчур смазлив для своих brutальных замашек. Он перебросил руку в тяжелом рукаве на спинку соседнего стула, ткнув между лопаток постороннюю даму, секунду смотрел на меня в упор и произнес:

— Эй, трупутя коньяко? Кодэл ту токия люднас шян-диен?

Признаться, я было решил, что он требует его угостить; но официантка уже поставила передо мной рюмку с коньяком. Спокойно, здесь — чужой монастырь, и не надо лезть на рожон; я поблагодарил, прижав руку к груди, и взялся за рюмку. Он поднял свою. Рука его не дрожала.

— Ты ее откуда знаешь? — повел он своей рюмкой в сторону девушки.

Она отвернулась. Похоже, начиналась одна из тех глупейших историй, в которые лучше не ввязываться в чужих городах. Я так и оставил рюмку на столе.

— Не хочет пить, — сказал он своей спутнице. — Почему бы это, а? И кто он такой?

Она ответила что-то по-литовски, хоть он говорил по-русски специально, чтобы я его понимал. Она явно отреклась от нашего с ней знакомства, что было довольно странно. Я решил, что Гражина до такой степени боится своего дружка, хотя что ж здесь такого, если она меня только что обслуживала за завтраком... Я не успел прийти к какому-нибудь выводу, как передо мной уж стоял деревенский увалень с плоским рябым лицом — и в милицейской форме. Он вяло сделал вид, что подносит руку к козырьку, буркнув при этом что-то вроде «сержантаускас», а потом, более отчетливо: «Ваши документы».

Действительно, кто я был такой? Пришелец, чужак, странник, на которого не распространяются неписанные мужские законы — зоны или масонской ложи, все равно. Законы литовской милиции были и уж вовсе не для меня, русского. Я подал сержантаускасу писательское удостоверение. Парень равнодушно повертел его и передал кожаному начальству, а потом поводил животом взад-вперед, будто проверяя, на месте ли ремень и портупея.

— Паспорт есть? — спросило начальство по-русски.

— А паспорт? — перевел с акцентом милиционер.

Я объяснил, что живу в Доме художников и что мой паспорт находится у тамошней консьержки. У администратора то есть.

И тут спутник Гражины наклонился над столом и театрально захохотал. Та тоже хихикала, прикрывая пальчиками в фальшивых кольцах смеющийся рот, хоть еще утром с ее зубками все было в полном порядке.

— Ты слышала, в Доме художников, — хохотал он, тыча ей в грудь моим удостоверением. — Гражина... — И повернулся ко мне, глядя довольно трезво: — Они близнецы. Их все путают. Они это любят. Всегда к одному мужику на свидание по очереди бегают. Но я-то их различаю. Я различаю вас, верно, Мэйле? — вскрикнул он. И, машинально щелкнув моими корочками, повертел их в руке и опустил в свой кожаный карман.

Меня это открытие нимало не взволновало: близнецы так близнецы. Меня интересовало другое — собственное удостоверение. Оно было для меня в те годы, как права для автомобилиста. Без него я уж никакой не литератор. Ни для властей, ни для окружающих. Ни для самого себя, может быть. Без него я безработный бродяга и тунеядец. Сержантаускас пошел вон из кафе, я тронулся за ним. Перед дверями стоял милицейский газик.

— Эй, — окликнул я сержанта, — а мои документы?

Он взглянул на меня с удивлением.

— А что я? Это не мой начальник. Это Комитет. К нему иди.

Он залез в машину и укатил. Нет, к нему я идти не хотел. Я, напротив, быстрым шагом пошел прочь от кафе, прикидывая, не пора ли мне собирать вещички и мотать в родную Россию. Городок меж тем, как ни в чем не бывало, продолжал строить из себя Западную Европу. На черта мне было перемигиваться с этой Мэйле, с этой Гражиной. К тому ж сестры наверняка были полячки. Но — жительницы Литвы, а потому могли все же занять вакантное пятнадцатое место в нашем дружном

хороводе... Утром я достукивал на машинке прерванную главу, как ко мне залетел запыхавшийся шахтер-биллиардист: «Эй, писатель, тебя к директору вызывают. — И добавил: — Там приехали».

Вызывают, это точно звучало. Просят — было бы иезуитски фальшиво. Я, оттягивая время, не спеша спускался по лестнице, когда мне пришло в голову, что местная директорша, толстая крестьянская баба, попавшая, видать, случайно в партийную колею, тоже угодила в переплет. Я не имел отношения к подведомственному ей Дому, по правилам она должна была бы взять с меня какое-нибудь поручительство от писательской организации, а не полную стоимость номера наличными. Что ж, в любом случае, с директоршей или без, но я чувствовал себя закономерно попавшимся, хоть, строго говоря, закона я не нарушал и в узкоправовом смысле виновным не был. Я был виновен в высшем смысле, как и любой житель империи, хоть бы в том, что неловко подвернулся под лопасть неумолимой машины власти. Внешне проникшись смирением, но внутренне готовясь хитрить и изворачиваться, я переступил директоршин порог; она, тяжело хохлясь, сидела за столом, держа в ладонях, как птенца, мою красную книжицу, а мой вчерашний знакомый — в вольной позе в кресле у стены. Увидев меня, он легко привстал и улыбнулся — сегодня он был свеж; руки он не протянул, а приветливо заговорил:

— Как же так? Живете, не представившись? Вот, Казимира Витаутасовна и не знает, что у нее — гость из Москвы — писатель. Пришлось нам ее информировать.

Директор взглянула на меня тоскливым парнокопытным взглядом.

— Как вам у нас живется? Как, так сказать, работается? — продолжал он, глядя на меня в упор.

Вот она, волшебная сила документа. Видимо, этот кагэбэшник, задержав мое удостоверение и установив, что оно не фальшивое, не сомневается, такое не могут выдать в Москве случайному человеку.

— Отлично, — отвечивал я.

— Кстати, Казимира Витаутасовна, когда у вас там мероприятие намечается?

— Традиционно в конце заезда. — Она листнула перекидной календарь. — Двадцать шестого.

— А сегодня у нас — двадцать четвертое. Превосходно. Проведем на высшем уровне. Мы поможем со своей стороны...

Я припомнил, что, действительно, намечалась какая-то экскурсия в передовой рыболовецкий совхоз — по слухам, с посещением сауны и дармовой выпивкой, мои прикладницы мне что-то такое говорили. Но директриса мямлила, я понял, о чем она думает: всегда все обходилось, слава богу, без вашей помощи.

— Это традиционно, — повторила она с катастрофическим акцентом.

В молчании мы с ним смотрели друг на друга. Он был, как и я, темный шатен. Может быть, лет на пять старше. Моего роста, но уже в плечах и в кости. У него был маленький, слишком яркий рот, небольшой аккуратный подбородок, короткий нос и темные глаза неверного, сумрачно-нежного, воровского выражения; от него крепко пахло отвратительным польским цветоч-

ным одеколоном, который в те годы продавали повсюду — в оплетенных соломкой бутылочках.

— Это там, — сказал он, махнув рукой в западном направлении, в сторону Клайпеды.

— Традиционно, — сказала Казимира Витаутасовна...

Нет, мне положительно был непонятен восторг, подозрительна эйфория, в которую впали эти в общем-то неюные, малознакомые между собой женщины, многие из которых были к тому же женами и матерями, хранительницами, так сказать, очагов, когда им обрисовали программу и назначили срок. Меня коробила их готовность принимать участие в столь сомнительном меро-приятии, как совместное посещение сауны в совершенно незнакомом месте, наверняка с возлияниями, с бог весть чем еще... Что вы хотите, чем еще, как не ханжеством, мог я скрыть от самого себя тот нехитрый факт, что я заранее ревновал свой гарем? Во время сборов перед посадкой в автобус и потом, в автобусе, царило то особое возбуждение, которое сопровождает всегда предвкушение греха и преступление запрета — так мы в наши пятнадцать лет ждали очередного бардака, — и порождает в соучастниках ложнобратские чувства друг к другу. Автобус катил меж двумя шеренгами педантично крашенных известью по колено лип, а молдаванка сидела на одном сидении с латышкой, корыстная прежде азербайджанка уговаривала безответную белоруску пользоваться именно ее шампунем, а патриотка подбивала селькупку с кузнецом спеть какую-нибудь народную песню хором. Километров через десять свернули к морю, нырнули в сосновый лесок;

мелькнул столб с табличкой, удостоверяющей, что мы въехали в запретную приграничную зону, и Запад вплотную приблизился к нам.

Остановились меж двух строений, деревянных и резных, как олимпийские сувениры. Выгрузились. Нас ждал высокий пожилой литовец в костюме и при галстуке, без шляпы, хоть на дворе было не выше пятишести по Цельсию. Это был директор рыболовецкого передового хозяйства, но об осмотре производственных мощностей и речи не было. Директор объяснил, что в строении пониже — сауна, в строении повыше — гостевой дом. Все было до невозможности ясно: мы попали в заповедник для развлечений местной номенклатуры, которая, как и во времена Хлестакова, держалась при коммунистах стаей, — городничий, шеф КГБ, почтмейстер, директор пищеторга, прокурор. Впрочем, совхоз ловил и другую рыбу, потому что, когда нас провели в обширнейшую гостиную, которую в саунах попроще назвали бы предбанником, следом была внесена молочная фляга, тут же покрывшаяся испариной, и большое блюдо копченого угря. Здесь же стоял и огромный электрический самовар, играла популярная в те годы цветомузыка, и радужные блики плясали на боках разноплеменных, как наш коллектив, бутылок в баре. В следующем помещении лежали стопками махровые полотенца и простыни. Шофер, вкативший флягу, тут же вышел, а директор напутствовал нас на малопонятном русском — суть инструктажа сводилась к тому, чтобы мы чувствовали себя как дома и что по традиции в сауне мальчики и девочки находятся вместе. И дверь за ним закрылась.

— Как хорошо, мой Бог, как прекрасно, спасибо всем, как хорошо, — вдруг запела лирически настроенная патриотка и закружилась на месте.

На остальных это подействовало как призыв: все зашебуршились, задвигались.

— Ой, что ж это мы, девчата, — все хороводила патриотка, — пар уйдет!

Но и пар был на месте, и девчат понукать оказалось ни к чему, они так и кинулись раздеваться, не обращая на нас с кузнецом никакого внимания; причем с наибольшим пафосом, я заметил, обнажались мусульманки, как равнинные, так и представительницы горских народов. Вскоре перед глазами было скопище голых тел, грудей и плеч, задов и лобков, и в таком количестве женщины не возбуждали (хоть, признаться, с некоторыми у меня до дела так и не дошло). Напротив, голые тела как бы выворачивались наизнанку, и как-то особенно бросались в глаза пигментные пятна, прыщики на спинах и ягодицах, неровности кожи, некрасиво гнутые пальцы босых ног и краснота в промежностях. Галдя, они стали втягиваться в парную, и мы с туркменом последовали их примеру. Впрочем, бедняга кузнец не разделял моих ощущений — скорее неприятных; глаза его одновременно и маслились, и искрились, мужество вздыбилось совсем по-жеребьячи и казалось непропорционально большим для его роста, для тоненьких коротких кривых ног. Он кой-как замотал член махровым полотенцем, и мы уселись с ним на приступочке с краешку, скромненько, рядышком.

Добро б, это была русская баня, где активной деятельностью по поддаванию, хлестанию и кряканью

можно отвлечься; здесь же сиди, как в курятнике, глазами на расставленные ноги напротив, классифицируя груди по форме и объему, по направлению сосков, совершенно разнокалиберных, от почти черных, пористых, торчащих, как грибы, о которых не знаешь — съедобны ли, до нежно-розоватых, почти незаметных, сливающихся с краснотой округ них, как случайная неровность. Разница между женщинами в толщине ляжек, форме бедер, покатоности или угловатости плеч, количестве складок на животе, расположении родинок, да и в виде груди в конечном счете второстепенна, ко всему этому быстро привыкаешь и почти перестаешь замечать. Подлинные же отличия, которых не забыть, были, увы, сейчас скрыты под одинаковыми треугольными черными, рыжеватыми или русыми с желтизной паричками, вот только у белесой селькупки лобок оказался тоже блондинисто-прозрачным, не в кудрях — в реденькой щетинке и не скрывал аккуратно поджатых сейчас скромных розовых губок. Туркмен ерзал рядом со мною, но мой пенис по-прежнему вел себя благовоспитанно, так что я и за кузнеца, и за себя развлекал дам шутивными разговорами. Правда, каюсь, я все поглядывал на одну — из эстонской сборной, девушку вполне экзотическую, наполовину эстонку, наполовину бурятку, которая была мною намечена еще загодя, поскольку до автономий у меня дело еще не дошло, и она хохотала громче всех, хоть сауна, на мой вкус, располагает, скорее, к неге и созерцательности... И вот первые, распаренные и ошалелые, стали высказывать и с визгом падать в ледяной бассейн, туда же подтолкнул я кузнеца, которому это было просто необходимо, сам же, за-

вернувшись в простыню, отправился отведать пива из запотевшей фляги. Хлынул из-под тугой крышки ураган хмельных паров, закапал жир с ухваченного с блюда угря, я зачерпнул кружку, глотнул и испытал тот прилив высокого блаженства, которое хоть и не заменяет любовь, но ради которого, собственно, наши предки и придумали баню. Одна за другой являлись и мои нимфы, я служил виночерпием, подавая каждой по кружке холодного напитка, представлявшего собой нечто среднее между деревенским квасом и деревенской брагой, коварство которого я тотчас же распознал: на первый вкус напиток был безопасным, как «Буратино», но таил мощный резерв оглушать и валить с ног. А тут еще освежившийся кузнец, замотавшийся по горло в цветастую простыню с павлинами, совал каждому рюмку своего, туркменского, коньяка, и ничего не подозревающие барышни хлобыстали пиво, ели угря, запивая все коньяком из песчаной Туркмении, в которой, если меня не подводят геоботанические представления, даже саксаул цветет отнюдь не ежегодно. Какой-либо строй — нарушился: одни еще млели в сауне, другие мылили головы под душем, третьи уж не отходили от хмельной фляги; кто-то кувыркался в бассейне, кто-то полез за хозяйским вином в бар, — я, последовав примеру кузнеца и плотно завернувшись в простыню, вышел на крыльцо и прикурил сигарету. Я затаился, но, опустив взгляд с небес на землю, увидел метрах в тридцати моего друга из местного КГБ. Боже, как мог я забыть о нем! Он хлопотал вокруг костра, все подбрасывая в него аккуратные чурочки; чуть в стороне копошились две женские фигуры, и, хоть были уже сумерки, я

узнал сестер Мэйле и Гражину. Он разогнулся и вяло махнул мне рукой. В свете уходящего дня и отблесках разгорающегося костра мне хорошо видна была его фигура: он был в охотничьем костюме, как сказали бы в ином веке, в замшевой куртке с бахромой, в таких же полусапожках, в обтягивающих ноги кожаных штанах — подобным образом и я одевался в студенческие годы, благо, Польша тогда хорошо жила на западные кредиты, вещички оттуда доплывали и до столицы бесперебойным ручейком. А он был хорош, ничего не скажешь, — бестия. «Море, море», — услышал я за спиной; патриотка оттолкнула меня, выпорхнула босиком во двор, простыня развевалась вокруг ее длинного голого тела, она, безусловно, была далеко не трезва; волнообразно покачиваясь и восклицая, с блуждающей на лице восторженной улыбкой пошла она к костру: где же море?

Море-то было на месте, сразу же за ближайшей дюной, и в тишине хорошо был слышен звук прибоя. Но мне было не до моря, меня охватила грусть. По мере того как мои голые захмелевшие подружки тянулись мимо меня вереницей к костру, будто под гипнозом, я испытывал все более глубокие приливы гуманизма. Пред моим внутренним взором, вдруг просветлевшим, одна дивным образом отделилась от другой. Волшебным способом я нежданно прозрел душу и долю каждой. Вологодская лапотница и затейница вдруг предстала мне страдающей рядом с несносным мужем — заместителем начальника товарной станции, он уволил и лишил места в рабочем общежитии молодого иногороднего диспетчера-нигилиста, что был влюблен в нее и

писал стихи; тихую мою белоруску я застал за стягиванием сапог с пьяного военнослужащего мужа, и уже в постели, прижимаясь жаркой грудью к его безответной спине, она все шептала: «Постылый, постылый»; грузинку по всей Плеханова считали кикелкой — за то лишь, что училась в художественной школе и ездила на практику, жила скопом с другими в бывшем дворце князей Мачабели, и как ей теперь было выйти замуж; сердце армянки сжималось при мысли, что братья узнают, и все поймут ее тридцатилетние девушки-подружки; таджичка много плакала, по несколько раз в месяц летая в самолетах Аэрофлота по линиям Душанбе — Москва, Душанбе — Ленинград, Душанбе — Киев иногда в туалете, потому что лишь в гостиницах для летного состава могла соединиться со своим возлюбленным, — на месте у него было уже две жены и довольно много детей; и не было, не было никакого такого его друга для маленькой эстонки Эве в местечке под Хельсинки, откуда она сбежала, исстрадавшись по родному городу, по виду на кафедральную площадь и ратушу из своего окошка, пусть в квартире и не было ни канализации, ни горячей воды. Молдавская судьба прозрелась с какой-то уж и вовсе пугающей филигранной ясностью: не так давно тонконогая молдаванка любила, забыв все рушники на свете; возвращаясь с любимым из ресторана и идя через сквер на площади Ленина, она закинула спяну почти новую австрийскую туфлю в черные кусты; он, конечно, полез искать, и она загадала, что, коли найдет, — она не изменит ему никогда-никогда; туфля нашлась, от разочарования уже через два дня она переспала с его приятелем, и сердце ее

теперь было навек разбито... «Бедные девочки, — твердил я про себя, — бедные мои, бедные девочки»; ибо что иное, чем человечность и сострадательность, придет нам на помощь, когда нас готовятся обижать.

А дело шло именно к тому. Сейчас кагэбэшник примется за мой гарем. Врежется, как тапир, в мое беззащитное стадо: не могу же я, в самом деле, заявить здесь, где до цивилизованного Запада рукой подать, что все эти полтора десятка женщин принадлежат одному мне. Да будь мы даже на Ближнем Востоке — как мог бы я, без евнухов и верных служанок, оберечь бедняжек от посягательств этого липкого чудовища с глазами вора и полномочиями Лубянки.

Я тоже подошел к костру, пообок расположилось целое хозяйство. Стоял наготове мангал, томилось под спудом мясо в маринаде в двух больших эмалированных тазах, и, верно отточенные насмерть, торчали в промерз-лой земле веерами тонкие шампурки. Всем заведовали сестры-близнецы, наряженные фасонисто: в джинсы, в одинаковые черные шерстяные блузочки, в белоснежные фартучки, а белые волосы каждой заколоты были томно-бордовыми привядшими розами. Кагэбэшник, — безусловно, был в своем роде артист.

— Альгис, — сказал он негромко, когда я подошел ближе, но, как и прежде, руки не подал. Мое имя он знал и без подсказок, и я промолчал. Он посмотрел на меня долгим неверным взглядом, в котором чудилась угроза. И вскинул руку. В окошке гостевого дома мелькнул свет — и грянула с небес оглушительная музыка. Давешний шофер, появившийся из дверей, тащил ящик шампанского. Одна из сестер пошла обносить всех бо-

калами, другая лила терпкую пену, пробки хлопали, костер полыхал, все чокались с таким волнением, как если б им предстояло встречать Новый год, а кто-то уж танцевал, обняв одна другую за талию, дурачась и хохоча.

Альгис протянул бокал и мне. Подставил свой. Бокалы на миг сомкнулись, и, по-прежнему глядя друг другу в глаза, мы выпили их до дна. Что-то блатное и порочное было в его манере и пластике, чуть надломленное, сдвинутое с оси. Похоже, он молча предлагал мне нечто похожее на состязания. Тут ему под руку подвернулась одна из сестриц, он с оттяжкой хлопнул ее по заду: «Что, хороши мои девочки, а? Хочешь их перепутать?»

Он знал, куда бить. Конечно, я хотел. Что ж, это поджентльменски — предложить мне такую компенсацию.

— Девочки хороши, — согласился я, чувствуя, что уже не вполне трезв.

— Танцуем, танцуем, девочки, — гортанным криком созывала товарок патриотка, — пьем и танцуем.

Затейница, она была уже пьяна в лоскуты. Многие от нее не отставали. Кто-то уж пил из горлышка, кто-то пьяно смеялся, кто-то щипал другую за грудь, и музыка гремела над пустынными дюнами, шампанское лилось, отплясывал кузнец, все подхватывая падающую простыню, и плясали на простыне павлины; селькупка все жалась к нему, озираясь, то и дело повизгивая — несколько истерически, как мне показалось.

— Богема, — объяснил я Альгису, как бы оправдываясь за весь этот балаган.

— Да, художники, — кивнул он и приобнял меня за плечо правой рукой — в левой у него был бокал. Его бедро на мгновение прижалось к моему бедру, я отчетливо почувствовал жесткую кобуру, висевшую у него под мышкой.

И тут я взбеленился. Я с презрением смотрел на одинаковых сестриц, а потом переводил взгляд на свой интернациональный цветущий хоровод. Вот в чем смысл их сдвоенности — в раздушевленности, но взаимозаменяемости, в неотличимости. Нет уж, сам их пугай, гад, руки прочь от искусства — и здесь я выпил еще бокал шампанского, — подавалы и бляди, — вот твой удел, чекистская рожа, а мы, артисты... Он прервал мой внутренний монолог, поманив за собой.

Мы шли рядом — к морю, я — в банных тапочках и закутанный в махровую простыню, и он, весь в коже и замше, с пистолетом под мышкой; мы перевалили дюну, горизонт открылся перед нами. Стемнело, ветер дул из Европы, было пустынно вокруг, и голым казалось море; лишь слева помаргивал какой-то огонек.

— Видишь? — спросил он, указывая туда. — Видишь огни? Это уже за границей.

Как близко, мелькнуло у меня, Господи, как близко.

— Хочешь туда? — спросил он. И ответил сам себе: — Вы все хотите, артисты.

Так вот зачем они оградили границу неприступными многокилометровыми запретными зонами: чтобы мы ее даже не видели... Мой спутник сунул руку под мышку, я инстинктивно отпрянул, он вынул бутылку коньяка.

— Пей.

— Сначала ты.

Он сделал два жадных глотка, завинтил крышку и сунул бутылку в карман — только сейчас я понял, что в левый. Его рука скользнула под мою простыню, сжала мое голое плечо; он вдруг наклонился и принялся страстно жевать мое ухо. Боже, какой же я был болван, что не понял все с самого начала. Что ж, в этом есть известная логика: я имею весь Советский Союз, с одной, правда, недостающей республикой, а КГБ, хранящий на замке его границы, собирается выебать меня. Я сильно его оттолкнул — нет, не ударил, только толкнул, я всегда считал, что отвечать ударом на поцелуй — признак очень дурного тона, такое могут себе позволить только женщины мужских профессий, но он отлетел метра на три, едва не упав. Через секунду я увидел направленное на меня дуло пистолета.

Дуло было маленькое, крошечная дырочка, почти незаметная в полутьме. До сих пор я видел лишь игрушечные револьверы, что смотрели мне прямо в живот, и, может быть, поэтому почти не испугался.

— Ты находишься в приграничной зоне, — сказал он совершенно без акцента.

«Неужели он меня сейчас пристрелит?» — подумал я. При попытке, говоря их языком, нарушить государственную границу. И это было бы в какой-то мере справедливо — по их законам. Попытки, правда, я не совершал, но желание-то, желание вырваться из этой страны — разве желание нельзя расценивать как попытку?

— Трус, — сказал он.

Я не считал себя трусом, но он сказал это с такой ненавистью, что я и впрямь почувствовал, как подступают мрак и холод, какой уж тут, к черту, Монтень. И вдруг он захохотал. Тем самым своим ложномефистофельским смехом, что я уж слышал однажды.

— Я могу тебя пристрелить, как собаку, — выкрикнул он, достал бутылку и еще выпил. — А могу взять под арест. Но ты мне не нужен. Через пять лет от твоей фигуры ничего не останется. Жопа раздастся. Ты слышишь? У тебя будет старая, никому не нужная жопа, — кричал он. — У тебя выпадут волосы, отвиснет живот. Ты будешь просто вонючий русский мужик. От тебя будет пахнуть говном. От тебя уже несет говном...

Да, недолго, по-видимому, осталось ходить ему в солдатах партии. Я отвернулся, я не стал слушать его педерастическую истерику. Он размахивал пистолетом, кричал, пил из горлышка коньяк, опять кричал что-то мне в спину, пока я взбирался на дюну. Наверху я обернулся, нет, не на него, конечно, на тот слабый мерцающий огонек, что был уже за границей, на Западе. И еле разглядел этот самый манящий огонек в надвигающейся тьме.

У костра водили хоровод. Из черного окошка гостевого дома слышались взвизги и стоны. Судя по тому, что на крылечке безутешно рыдала селькупка, я сообразил, что кузнец — кует, пока горячо. Я подхватил одну из сестриц и тоже устремился погостить. Я таки перепутал их — при свете, пожалуй, я бы смог отличить одну от другой по улыбке, но мы не зажигали огня. Пока я стягивал с нее джинсы, она что-то убедительно лепетала

по-литовски, но мне было не до ее воркотни. Я взгромоздился, прицелился — и хоровод сомкнулся.

глава IX

ФОНТАН И АННА

Все мы, настроенные хоть чуть суеверно, — каббалисты своего рода: мы воспринимаем текст нашей жизни как криптограмму, которую надеемся разгадать, прислушиваясь к предчувствиям, доверяя приметам, коллекционируя совпадения, переклички, знамения. Но шифр надежно скрыт от нас, и потуги наши совершенно бесполезны, — кто, в самом деле, надеется, даже проникнув в замысел рока, хоть в чем-то его изменить. Так что любопытство наше сродни дерзанию Одиссея, когда он, прочь от Итаки, взял курс на Геркулесовы столпы, отлично зная, что за ними в Океане — вода, одна, без края, вода... Так вот, о совпадениях, — из них соткалось начало этой истории, и само их обилие, как известно всякому неوفиту каббалы бытия, вернейший залог ее подлинности, — расположим их в хронологической последовательности.

Осенью уже описанного предолимпийского года у меня был мимолетный роман с полячкой из США по имени Лола, красавицей и авантюристкой — правда, несколько меланхолического толка. Познакомились мы на проводах моего приятеля Оси, переселявшегося в Америку по израильской визе, — не знаю уж, кто ее туда привел. Мы сошлись в ее номере гостиницы «Бер-

лин», вместе отправились в Ленинград, были в Кировском на «Бахчисарайском фонтане», а трахались в ее апартаментах в «Московской»; мы вернулись в Москву, спали в Переделкино у Дуды, и только в последнюю ночь перед ее отъездом, когда я заявился к ней в «Пекин» с большим букетом роз, в темноте она пробормотала нот соу джентел, и я понял, что никогда больше ее не увижу. Это было печально, я, пожалуй, был покорен ею, припухлыми простонародными губами, славянским разрезом глаз и рисунком скул, ее грудью с вкладки «Плейбоя» — она и впрямь какое-то время была секретаршей Хью Хефнера, красотой ног и рук, — и готов был к продолжению. Но — что верно, то верно — я вел себя утомительно влюблено, бывал прилежно нежен с ней, впрочем, даже если б не эта скука, нищий московский литератор — последнее, что могло понадобиться ей в жизни, которую она торопливо проживала по законам трансконтинентального воздухоплавания. — И, перечитав этот абзац, я обнаружил, что, пожалуй, ключевыми здесь являются слова «фонтан» и «Лола».

Перелистнем еще пару лет. Похмельным осенним утречком я завтракал с приятельницей все в том же «Национале», — ныне захваченном австрийцами, и нам его, пожалуй, уже не отбить, — как заметил женщину, сидевшую через пару столиков (оттуда долетали обрывки фраз): шахматная фигурка, головка в темных кудрях, интернациональное выражение глаз, довольно заметный акцент, — и, при всем моем неиссякающем интересе к хорошеньким дамам, все ж необъяснимо, отчего я никак не мог отвести от нее глаз. Не стану врать про предчувствия, сам в них едва верю, — и это при том, что

именно предчувствия предостерегали меня не раз от серьезной опасности, так что неверие это, конечно же, легкомысленно, — но я как будто узнал ее. Нет, это не было скучновато-обыденное дежа вю, но — тормозящее бег времени узнавание, именно узнавание чего-то далекого, воспоминание о бывшем с тобой и не с тобой, короче — то самое, что понятно без объяснений любому приверженцу учения непальского принца. Приятельница моя, естественно, заинтересовалась — что я такое там увидел, пришлось объяснить ей, что ломаю голову — кем может быть вон та женщина — одна в двенадцать дня в «Национале», беседующая на плохом русском с двумя командированными бабами, явно ей незнакомыми, соседками по столику. Должно быть, прибалтийская гастролерша, заявила моя приятельница, и это, кстати, было сносным объяснением. Два слова об этой моей вполне необязательной знакомой: она служила методистом на Выставке достижений народного хозяйства, а я писал тогда статью про этот химерический ансамбль для журнала по русскому подпольному искусству, издававшемуся нелегально в Париже, и для лучшего знакомства с предметом, всякий знает, гида и помощника нужно иметь под рукой, ближе всего — в собственной постели.

Итак, случайное впечатление в «Национале» во время завтрака, посвященного обсуждению особенностей архитектуры и планировки парка ВДНХ.

Еще через неделю я был приглашен — по поводу, кажется, очередной годовщины Октябрьского большевистского переворота, как всегда говорили в нашем кругу, — на обед к Вике, той самой Вике, коллекционерше

и галерейщице, некогда — рыжей бестии, тогда — уже стареющей даме, лесбиянке по концепции и нимфоманке по убеждениям, много тратившей на любовников и молодых самодеятельных живописцев, хозяйке знаменитого в те годы салона на последнем этаже генеральского дома на Садовой, салона, посещавшегося важными иностранцами и московской богемой, причем среди первых бывали персоны и в ранге послов, среди вторых — маститые топтуны, и о котором ходила слава, что салон этот — да и сама хозяйка — содержится КГБ, в чем, безусловно, была доля преувеличения, я еще скажу об этом в другом месте. Чуть припоздав, я застал уж за столом целый винегрет: тут был и настоятель храма в Антиохийском подворье, в черной рясе, продолжавшей смоляную бороду, с косой на затылке, частью ливийский дипломат, частью сирийский соглядатай; художник Толя Л., писавший все больше траву, но не в уитменовском смысле, — впрочем, вряд ли он знал, кто такой Уитмен; цыганский еврей Фима Д., персонаж колоритнейший, специалист по молоденьким девчонкам и таборному фольклору; мексиканский атташе по культуре, подозрительно блестяще рассказывавший наши анекдоты с грузинским, еврейским или чукотским акцентом, позже застреленный на каких-то шпионских тропах; Ксения — и она, Анна.

Я тотчас узнал ее, она меня нет. Теперь я без помех и вблизи — меня усадили ровно напротив — разглядывал ее лицо. У нее были чуть водянистые зеленоватые глаза, темневшие от сантиментов и неожиданных приступов ярости, в чем я смог убедиться несколько позже, прямой, чуть закругленный нос, строго очерченные гу-

бы и прекрасная посадка головы; она была красива особой, аристократической некрасивостью, столь далекой от массовых образчиков банальной смазливости с обложек иллюстрированных журналов, она блистала породой, будучи совершенна в своем роде. И оказалась американкой. Я совсем иначе представлял себе жительниц противоположного континента, пусть даже и демонстрирующих результаты двухсотлетнего отбора, — крупные блондинки с хищными пастями и веснушчатými носами, на лицах которых написано-таки их фермерское происхождение, впрочем, выяснилось, что она итальянка, хоть живет в Штатах полтора десятка лет. Чем она занимается в России? — Шершеневичем. Иезус Мария! — но скоро с окраин русского футуризма разговор перескочил на последнюю эмигрантскую книгу Лимонова «Дневник неудачника», и я заметил, что эмигрант и неудачник — это почти синонимы. «Я тоже эмигрантка, — сказала Анна, — но я — удачник!» Милая, милая, нужно было тогда же постучать по дереву, благо, в Викиной квартире было сколько угодно дерева, ну хоть по резному буфету ложноанглийской наружности, на худой конец, сплунуть три раза через плечо... Натурально, после нескольких бокалов шампанского и кое-какой севрюжки мы, не сговариваясь, вышли из-за стола и отправились по закоулкам огромной квартиры смотреть картины, и за ближайшим углом перед первым же полотном бросились друг другу в объятия. Позже она обронила как-то, что у нее это бывает или сразу, или вовсе не бывает, — точно как у меня. Я всегда любил афоризм покойного Жени, что, мол, ухаживание — дело небарское и не нужно обращать внимания на ха-

моватую форму, на самом деле здесь провозглашается нежнейшая истина электротехнического толка, что в любви главное — короткое замыкание.

Но все это к слову. Тогда — мы выскользнули из салона, мы выбежали на улицу, мы схватили такси и с разбегу очутились в моей кровати, хоть и жил я у черта на рогах, в Бибирево, страшно вспомнить. В сумерках она собралась было уходить, но мне не хотелось ее отпускать; вечер только начинался, у меня были планы и иных развлечений, но я удержал ее — с тем чтобы под утро наградой мне был ее тихий лепет: «Как хорошо, что ты уговорил меня оставаться».

Нет, у меня и в мыслях не было искусственно длить эту связь. Какая корысть, мне ли было не знать, что ничего из этого все равно не получится — чересчур далеки наши континенты, слишком прочен занавес, фатально неисполнимы даже простые желания, а значит — легковесна и неверна интернациональная любовь. И простота нашего соединения была как бы ответом на столь печальное положение дел, единственным ответом, который мы могли дать. Раз так, куда как просто было перешагивать условности, отбрасывать разницу положений и воспитаний, привычек и языков, как легко обнимать и ласкать друг друга, как славно вышептывать англо-русскую нежную невнятицу, как сладко и щемяще вдыхать аромат краденной у случая взаимной найденности, срок которой заранее определен стоящей в ее паспорте визой. Быть может, подобные обстоятельства — идеальны для любовников: меня, во всяком случае, ничто не отвлекало от ее прелестной женственности — ни прозрачность взаимных надежд и расчетов, ни

суетливые и докучные мысли об общем завтра, я только наслаждался ее полной грудью при миниатюрности фигуры, укромностью всего ее тельца, дышал ее волосами и ее лоном, восхищаясь неожиданными подробностями, которые мне удалось сразу же угадать: скажем, когда она кончала, матка ее принималась столь дивно пульсировать и трепетать, что шейка подчас показывалась наружу, и уже к утру я наловчился успевать поймать ее губами или хоть на миг дотронуться языком.

За завтраком она очень смеялась, когда я рассказал, что однажды уже видел ее в кафе и принял за вильнюсскую проститутку; впрочем, она потребовала, чтобы я назвал цвет ее блузки и цвет ее юбки, я назвал, не забыв даже серебряный поясок на талии; она перестала смеяться, задумчиво посмотрела на меня. Мы много говорили в то утро, как будто торопясь. Выяснилось, что она живет в Индиане, где преподает русскую литературу в местном университете. Я обронил вскользь, что у меня была знакомая из этого штата. «Лола?» Я был поражен: «Ты ее знаешь? — Мы подруги. Я уже догадалась. Она рассказывала мне, что был у нее в Москве один сумасшедший русский...»

Пусть другие называют это игрой случая. Но только я — а, кажется, и она — знал, что означает подобное наложение совпадений. Здесь уж одно из двух: или вы метафизик, о которых еще Юнг говорил, что они — лишь шарлатаны от психологии, или артист, и в последнем случае вам тут же становится очевиден прозрачайший художественный замысел — ясности пейзажа за окном. Конечно, нам обоим претила любая предумышленность, она только вредит поэзии, так что мы принялись

как бы исподволь, невзначай грести в одном направлении. Среди многих определений любви хорошо такое: нарушение дискретности. Так вот, мы взялись всячески день ото дня попирать какую-либо дискретность, третировать ее, пытаюсь жить, фигурально говоря, не разнимая рук. Естественно, повседневная реальность покушалась на нашу пастораль, облакаясь то в форму вахтера в общежитии Института имени Пушкина, куда Анна привезла кучку американских балбесов — своих студентов, то прикидывалась расписанием ее занятий, то и вообще оборачиваясь какой-нибудь бытовой мишурой, но мы-то, бессознательно усвоившие общий план, в котором наше странное знакомство было лишь завязкой, успешно разоблачили все эти подвохи, послав к черту КГБ, администрацию ее института, атташе по культурному обмену американского посольства и кое-какие мои — впрочем, и без того необременительные — жизненные обязательства.

Она оказалась итальянской графиней, хотя очень не любила вспоминать об этом: Америка, как советская власть, отучает помнить о титулах и голубой крови; родилась в родовом поместье под Туринном, католичка, в отрочестве была сдана в закрытый пансион для отпрысков хороших семей женского пола — в ее фамилии присутствовали и де, и ла; оттуда она выпорхнула восемнадцати лет и девицей, отчего, по-видимому, и сбежала тогда же в Калифорнию. Похипповав по пляжам Фриско, подцепила парнишку из американской глухомани, который и стал ее мужем. Они зажили в провинции, она училась в университете — русскому, он уже преподавал, бассейн три раза в неделю, умеренный

феминизм, бег трусцой, холестерину — бой, необременительный радикальный либерализм, парти у соседей по субботам, диета, Лет'с гоу ту фак? — ОК, лет'с гоу, — добрая американская университетская пара, так и жили мирно — вплоть до развода, который случился после одного из первых ее вояжей в Россию в начале семидесятых. Дело в том, что в Москве у нее произошел роман — нет, не с членом Союза советских писателей, даже не с филологом из Университета имени Ломоносова, но с американским дипломатом, и этот роман аукнулся, подозреваю, в нашей с ней судьбе: как водится, дипломат работал на ЦРУ и привлек ее к светской жизни спецслужб, пару раз засветил на встречах с советскими коллегами, куда по протоколу каждая сторона является парюю. Так вот, о ее разводе. Она получила славный дом в маленьком университетском городке: фотографии дома я видел много раз — американцы обожают фотографировать свою недвижимость и показывать изображения окружающим, будто собираются сейчас же ее продать, — Анна в садике, Анна у гаража и Анна на крылечке, Анна на фоне аккуратно стриженного газона, но больше других мне понравилась одна, где она стояла на веранде, на холодке, мечтательно вдыхая запах деревьев и кутая плечи в тонкую оренбургскую шаль, что я ей подарил. Но все это — позже, пока же мы сидим вечер за вечером на моей кухне в Бибирево, пьем «Старку» — отчего-то это стал наш напиток — и говорим. Ее русский курс литературы XVIII века я дополняю посильно: скажем, сообщением о том, что Фонвизин женился восемнадцати лет на богатой старухе восьмидесяти с тем, чтобы выплатить карточные долги старше-

го брата. Или пересказываю ей только что написанную статью о ВДНХ: она знает что-то о тоталитарном искусстве, но имени Фрэзера никогда не слышала. Однако ни «Старка», конечно, ни биография Фонвизина, ни моя любовь — ничто не могло мне объяснить все возрастающую ее тягу пить темный яд русских горестей, безалаберности и величия, скуки пространств, медлительности времени, неюта городов и первобытного животного тепла. Без сомнения, Россия способна на время отвлечь западного человека от хайдеггеровского неюта бытия-в-мире, к тому же Анна жила между двумя континентами, сама была бродягой и странницей и, должно быть, пыталась залечивать свою неприкаянность русским наркозом. Так или иначе, когда нас с ней выгнали из ее номера в ленинградской «Астории» среди ночи на улицу — там были и швейцары, и дежурные, и стертые хари, неотличимые одна от другой, — и я, не будучи трезв, конечно, расплакался от бессилия и стыда за свою страну, она сделала мне предложение...

Остановимся на минуту, я переведу дух. Не знаю, описать ли, вернувшись назад, как по ночам мы покупали в Бибирево водку у цыган и использовали милицейские машины в качестве такси — и то и другое вызывало у Анны изумление и восторг, — или, коли прыгнул вперед на два месяца, припомнить склизкий ленинградский декабрьский денек, хлипкий и смутный цвет неба и воды, когда мы, бездомные и промокшие, бродили по призрачному городу и никто не хотел нам подсказать расположение консульства — ни дворник-ассириец, бородатый и кривоглазый, ни пьяная молодая еврейка, выкрикивавшая что-то из «Страха и трепе-

та», ни молодой негодяй с серьгой в левом ухе и жирными русыми волосами, забранными в косицу, пытавшийся нам продать Данте в отличном состоянии ин фолио, — и Данте нас особенно рассмешил, хоть и над этим знаком впору было призадуматься. Мы были беспечны, глупы, влюблённы и пьяны, но даже в беспечности этой, если оглянуться, была торопливость и судорожность, — еще бы, опасность была разлита в сыром воздухе, и мы глотали ее, как «Старку», и спешили, спешили, спешили, будто могли от опасности убежать — убежать здесь, в сердце одной из двух великих держав, которым принадлежали и которые несколько десятков лет только и пеклись, как бы им ловчее одна другую уничтожить. Тем естественнее прозвучало ее предложение среди мгливой бесприютной ночи, когда мы укрылись от ветра под глыбой темного Исаакиевского собора: предложение себя и свободы. Я мог бы увидеть в этом лишь женское движение, материнское желание приютить обиженного, христианский жест пригреть гонимого, но сколь ни был я пьян и спутан, я мигом понял, что она именно предлагает мне быть ее мужем и отныне защищаться вместе.

Мне тем более легко вспоминать пустяки и подробности нашего питерского рождественского вояжа, обернувшегося — так вышло — нашей помолвкой, хоть со времени знакомства не прошло и двух месяцев, что после я имел возможность мысленно бродить с ней сколько угодно по промозглому городу в пропитанных влагою дневных сумерках — вдоль и поперек, — и в те полгода, что прошли до ее следующего появления в Москве, и потом, когда она окончательно исчезла из

России, но не из моей жизни, ибо тогда, в июле, визу ей дали в последний раз. Конечно, нам следовало бы вести себя по-партизански, лелея свой дерзновенный план: мне бы тут же исчезнуть, чем что ни ночь спать с ней в одной постели в ее номере, давая взятки дежурным, ей бы — напустить на себя строгость, чем целоваться со мною за праздничным, общим с ее студентами столом в вечер Рождества — под шампанское, под недоуменными взглядами приставленной к группе стукачки-переводчицы, под треск бенгальского огня. Но если бы мы не были упоены друг другом, не праздновали бы так шумно свое воссоединение, не умели наслаждаться именно этой своей свободой в столь неподходящих, на взгляд, обстоятельствах, то были бы не мы, не два дилетанта, как писала она мне потом под впечатлением, видимо, Окуджавы, но пара угрюмых заговорщиков, втайне вынашивающих индивидуальный проект детанта. Мы же чувствовали себя пред Богом безгрешными, как дети, как два очаровательных юных педераста, Шурочка и Николка, — они что-то рисовали или сочиняли, вполне необязательное, — которые вызвались на другой день быть нашими ленинградскими гидами.

Причудливая это была компания: мы с Анной, которая в своей шубке на фоне грязного и разваливавшегося на глазах некогда помпезного города казалась герцогиней, и двое херувимов, один маленький, в зипунчике, тесно подпоясанном ярким кушаком, и в кирзовых сапогах, другой высокий и чернявый, в длиннополом черном развевающимся пальто, взятом не иначе как на помойке. Мы путешествовали вдоль каналов, полных ржавой дребезжащей воды, мы бродили по вонючим

рынкам, заглядывали в богатые, пышащие свечами и позолотой церкви, исследовали некогда парадные подъезды с чудом сохранившимися причудами в стиле арнуво, слонялись мимо складов и пакгаузов, — Бог знает отчего, но все нам казалось восхитительным, — пока не пришли на незабвенный вокзал, откуда некогда шла первая в России железнодорожная ветка в Царское Село. Мы уселись в ресторане под царским витражом напротив невероятной, резного дуба, огромной буфетной стойки — говорят, ее давно уже нет на свете, — пили дрянную водку, закусывая сосисками со жгучей горчицей и задубелыми бутербродами с тоненькими корками красной икры, и были счастливы. Помнишь, Анна, этот день? К вечеру, когда в зале зажгли огромную люстру, мы решили всей компанией ехать танцевать в валютный бар гостиницы «Ленинградская». На привокзальной площади мы обнаружили кабинки для мгновенного фотографирования — в Америке это называется фотомат; мы с тобой втиснулись вдвоем, опустили монету в прорезь, и, кто знает, может быть, в твоей вашингтонской квартире, в доме за углом от Адамс Морган, завалялись где-нибудь эти фотографии, получив которые, мы хохотали до слез: два тесно прижатых одно к другому, скошенных, раздутых по диагонали, пьяных счастливых лица — твое и мое...

...На ВДНХ я повел Анну светлым июльским днем, дня через три после ее приезда. На сей раз ее поселили в гостинице «Космос» — так, что окна номера смотрели прямо на парадные выставочные ворота, на могучую колхозную чету, водруженную на аттик многопролетной тяжелой арки и вздымающую на вытянутых руках взра-

щенный и сжатый ею могучий золотой сноп спелой пшеницы. Я было взялся объяснять Анне, чем отличается плодородие от чадородия, как она засмеялась и тронула меня за рукав.

— Стоп, — сказала она, — я, кажется, вспомнила: ты говорил об этом на кухне, когда мы пили «Старку», ты писал об этом...

Я тоже вспомнил, как о том же болтал в кафе, — в тот миг, когда увидел ее впервые.

Мы ступили под арку, мы вошли в наглухо огороженное от внешнего мира массивным и высоким чугунным забором пространство, озаренное и согретое сейчас ярким летним светом. И прямо на пороге наши начальные дни стали возвращаться к нам. Ведь предыдущие трое суток мы толком и не были вместе, замороженные неисчислимыми фантазиями, бюрократическими препонами и формальностями, что воздвигло государство на пути своего гражданина к иностранному браку. Все три дня мы как бы не могли взять нужную ноту, потерянную во время разлуки, и я чувствовал себя в той точке сюжета, когда внезапно перестает писаться.

Мрачные мысли одолевали меня, на то были причины. Когда я встречал Анну в Шереметьево, ее около двух часов продержали на таможне, не попросив даже открыть чемодан, но все связываясь по телефону с неведомым начальством: букет завял в потных руках, когда она показалась, наконец, из каких-то приграничных глубин, потерявших мистику, как прискучившая сказка, но не ставших доступнее от этого, маленькая, толкающая перед собой через пустой зал два своих больших чемодана. Это был дурной знак. Настолько дурной, что

даже в грубости швейцара, загораживавшего мне вход в ее отель, мне чудилось не простое вымогательство, но заговор государства против нас с ней.

Несколько успокоило то, что документы у нас таки приняли, были даже любезны, дали не то поздравительный талон, не то квитанцию на получение что ли постельного белья, — свадьба была назначена на конец ноября. И сейчас, демонстрируя Анне фонтан «Дружба народов», я утверждал, что это — не аллегория интернациональной любви пятнадцати социалистических республик, но — наш свадебный хоровод.

Мы пошли, держась за руки, по этим просторам, демонстрирующим перманентный триумф вечно голодного народа. Я указал ей на парящего в вышине громадного быка — он темнел своим мощным корпусом, нависая над выставкой, в контражуре, на фоне разгоревшегося солнца, — быка Аписа, бога плодородия, в которого, быть может, превратилась душа нашей фараонской страны. Мы шли мимо восточных беседок и мавританских дворцов, мимо стального эллинга для дирижаблей, дорические колонны сменялись ионическими и коринфскими, — в той же последовательности, что в Колизее, — распустившиеся пальмы были огорожены легкими аркадами, на клумбах застыли самолеты, дикий виноград оплетал бесконечный горельеф, на котором счастливые фигуры пейзажистов были пересыпаны изображением овощей: корнеплодов, огурцов и помидоров; пройдя сквозь помпейский перистиль, мы оказались в яблоневом саду, разросшемся так буйно, что почти укрыл бронзовый памятник — скромную фигуру в человеческий рост, в шляпе и с палкой; по лужайке кле-

вера с расставленными по ней ульями мы приблизились к еще двум изваяниям — жеребцу Квадрату и жеребцу Символу, как было сказано на табличках, и вдруг обнаружили поодаль скульптурную группу: колхозница указывала пограничнику куда-то вдаль, потревоженная, видимо, признаками далекой опасности, а тот присел к своему пограничному псу на одно колено; пес тоже протягивал вдаль свою чуткую умную морду.

— Зачем все это? — прошептала испуганная и очарованная Анна.

Что ж, ей, человеку Запада, вся эта лужа киселя могла казаться лишь сном пьяного кондитера, но мне-то было ясно, что этот пряничный славянский рай — мое Лукоморье, а верный пограничник с верным псом стережет его рубежи. Зачем? Я повлек ее через огромную пустую площадь — она едва поспевала, — и мы достигли сердца этой очарованной страны.

— Вот, — сказал я.

В громадном бассейне, отделанном цветным полированным мрамором, плавали бронзовые рыбы и бронзовые птицы; все они тянули головы в одну сторону, беспрерывно выплевывая из бронзовых клювов искрящиеся струи воды.

— Смотри туда, — показал я Анне в самый центр. Там, переливаясь и сверкая, застыл в нечеловеческом вечном напряжении раскрытый каменный цветок.

— Что? — прошептала Анна.

Она не понимала, что из этого места, любовно украшенного цветными сплавами редких металлов и тысячами разноцветных камней, — из этого именно свя-

щенного места и рождается окружавшее нас чудовищное, невыносимое изобилие.

— Это вагина, — сказал я. — Иони. Вульва. Пизда.

Увы, она ничего не понимала.

— Пизда? — переспросила она. — Кто есть пизда?

Мне пришлось опять схватить ее за руку и повлечь за собой. Ветви раздвинулись. Посреди большого пруда, широко разбрасывая вокруг себя воду — семя земли, — высился светящийся золотом, набухший каждой своей чешуйкой, с расширенными от напряжения порами, из которых сочилась блистающая на солнце влага, непобедимо торчащий колос, а вокруг него, у его подножья, безмятежно катались на цветных лодочках парни и девушки, девушки и парни.

— Хуй, — сказала пораженная Анна, — это есть хуй!

Она новыми глазами смотрела на все, что ни есть вокруг. Там, во внешнем мире, шла классовая борьба, холодная война, там на улицах пахло пылью и пережженным бензином, здесь же освящал своим светом и семенем эту дивную страну неутомимо извергающий фаллос, и вокруг воцарилось как будто вечное лето, каменный цветок жадно вбирал эту влагу, вели нескончаемый брачный хоровод пятнадцать девушек в национальных нарядах, парил бык в вышине, и счастливая пара истуканов являла всему миру свое возвращенное на колхозных полях чадо, и бессонный пограничник бессонно охранял рубежи нашего счастья.

Тут же давали и пиво. Я взял по кружке.

Женщины в легких платьях с загорелыми шеями и спинами прикрывали ладонями глаза от солнца, и в ме-

ру шалили дети. Трудно было говорить в виду такого благолепия, но если мы и говорили о чем-нибудь тогда, итальянская графиня и американский профессор — русист по совместительству, и я, русский литератор, то, конечно же, о России, и Анна признавала, полагаю, что понять эту страну можно никак не умом, но любовью и только одной любовью.

Проголодавшись, мы отправились обедать в ресторан под названием, разумеется, «Золотой колос». В тот год вышел запрет на продажу алкоголя в местах отдыха трудящихся, так что мне пришлось взять бутылку водки и бутылку шампанского у швейцара, который с готовностью продал их из-под полы. В ресторане мы были одни. Официант с удовольствием перелил водку в графин, сам открыл шампанское и наполнил наши бокалы. Мы чокнулись, не боясь сглазить, что, конечно же, было самонадеянно. Мы молча пили за то, что все будет хорошо, мы поженимся, а там уж — как Бог даст: отчего-то к нам вернулась уверенность, что мы живем в свободном мире и вольны делать все, что нам заблагорассудится.

Нам дали икры, и балыка, и холодного напитка клюквенного оттенка, пахнущего затхло, но с плавающими в нем несколькими кубиками льда. Ближе к вечеру появился оркестр и заиграл без предупреждения модную в то время в России итальянскую песню «Феличита». А поскольку мы уже крепко выпили, то нам стало неумно весело, и мы принялись целоваться здесь же, шептаться о любви и, кажется, читать русские стихи. Мы решили победить во что бы то ни стало.

Из ресторана вышли далеко после заката. Растительность благоухала, на чистом небе светила чистая

луна. Я прикинул, что чем идти через всю выставку к центральному входу, мы могли бы перелезть через ограду Ботанического сада, а там выйти на дорогу с другой стороны, благо, оттуда до моей кровати в Бибирево было уж рукой подать.

Ограда была в сотне метров, в тылу ресторанного здания. Она неприступно тяжелела в темноте, и, будь мы потрезвее — задача показалась бы неразрешимой. Но мы были пьяны, счастливы и влюблены, шальная сила подняла нас, оторвав от земли; за несколько минут, карабкаясь по мокрым от вечерней росы прутьям, мы перемахнули преграду. Мы вырвались из одного рая, но тут же обнаружили, что оказались в другом.

Вокруг нас сям и там торчали то бразильские пальмы, перевитые африканскими лианами, то мексиканские кактусы, то азиатские саксаулы. Возле каждого растения белела в темноте табличка, и если наклониться, то можно было разобрать надписи по-латыни. Диковинный лес, казалось, обступил нас, но вдруг впереди засветилась под луной дивная поляночка с уютной копной вполне русского сена посреди. Недолго думая, мы упали на эту копну, набросившись друг на друга, будто только сейчас встретились. Мы расстегивали друг на друге одежду, мы облизали губы друг друга, мы прижимались один к другому грудью, и так истово, будто лишь в этот вечер вернулись — я к ней, она ко мне. Мы готовились слиться в том порыве редкого счастья, когда не думают о способах, а только рвутся принять и проникнуть до полного растворения, как оба ощутили точно какое-то движение земли, сгущение воздуха и тревогу, словно при надвигающейся грозе.

Я приподнялся и отчетливо услышал приближающийся многоголосый лай. Звук накатывал очень быстро, и все лучше были различимы отдельные голоса собак, их голодное урчание, рык, подвывание, азартный утробный стон гона, казалось — даже кипение слюны, хлопьями падающей с их морд. Что за добычу они загоняли?

Чудилось, что стая летит прямо на нас, было страшно, мы невольно прижались друг к другу. Прошло несколько длинных мгновений, пока за решеткой сада мы ни увидели силуэты больших овчарок — точно таких, как на скульптуре с пограничником, — с топотом, скрежетом и рыком мчавшихся мимо.

Как-то сразу все стихло, опять стали слышны лишь насекомые, которыми был полон сад.

— А если бы мы были там? — спросила Анна. Я тоже раздумывал об этом. — Нас никто не предупредил, — вскрикнула она с характерным, американским подъемом голоса в конце фразы. — Как это по-русски?.. они могли есть нас!

Это было верно. Они могли нас есть. Если бы мы не перелезли через ограду — овчарки растерзали бы и ее, и меня. Что ж, таковы законы этого рая, мне ли было не знать, но на этот раз нам удалось уйти от погони.

— Факинг шит, — выругалась Анна, и ее светлые глаза были совсем черными. В темноте ее обнаженная фигурка и впрямь напоминала белого ферзя. Она потрянула кудрявой головой: — Факинг шит! — Для убедительности она ткнула в сено кулачком. Маленькая раздетая женщина — она пыталась идти чуждому ей миру наперерез. И тут я увидел в первый раз — в первый раз

и в последний, — как на ее глазах и ее щеках показались слезы.

глава X

ДЕВОЧКИ НА ОБРАТНОМ ПУТИ

Мне продолжали сниться иноземные сны. Мне снились подступы к Варшаве, долгие кварталы, перепачканные черной золой и пылью, тяжелого свинцового цвета под тусклыми небесами; мне снился Нью-Йорк, район низкорослых зданий — откуда я тогда знал, что увижу такие в Квинсе, — отчего-то утлый дебаркадер, украшенный нищенской иллюминацией — на одну мутно светящую лампочку две перегоревшие, шаткий трап — вход в бар, отгороженный бамбуковой занавесью, щелкающей на сквозняке, и плечи немногих посетителей, сведенные вниз, из которых ни один не обернулся ко мне. Как-то мне снился Париж, и это был единственный солнечный сон, — яркое городское пространство, облитое слепяще, — но чувство узнавания и свободы тут же было омрачено разочарованием: за мной плелся небритый старик и бормотал под нос русские ругательства. Наконец, однажды мне явился во сне — Рим, жалкие руины, покрытые плесенью и патиной.

Я не мог тогда разгадать смысла этих сновидений — лишь узнавал терпкий вкус тоски и бесприютности и просыпался с этим безрадостным чувством. Сны как будто подсказывали, что для меня весь мир есть, в сущности, одна большая Россия, юдоль слез по несбы-

точному, и убежать некуда. Но в сны я никогда не верил.

Впрочем, и в дневной жизни у меня были плохие времена. Один мой литературный приятель сел в Лефортово — насочинял что-то ерническое про большевистские святыни и тиснул за границей. Теперь я и его жена-актриса каждую неделю возили в тюрьму копченую колбасу и сигареты, а на обратном пути неминуемо напивались в вонючей шашлычной на Таганке; у меня дома под это дело провели обыск, все до последней бумажки сложили в мешки и унесли, прихватив обе мои пишущие машинки; к тому же КГБ принялся не только таскать меня на допросы как свидетеля, но и профилактировать — дергать на беседы, внешне душеспасительные, на самом же деле полные шантажа, припоминая мне и университетское общежитие, и Анну конечно, и многие детали, начиная с моих восемнадцати лет, а когда я отказывался отвечать, успокоительно издевательски приговаривали: а вы подумайте, подумайте, все равно жить вам здесь. Было похоже на то, что я, как Медведь из сказки про Машеньку, всю жизнь носил их с собою в котомке за спиной, полагая, что несу пирожки, и вот теперь, едва присев на пенек, услышал предостерегающий голос. Хуже всего было то, что однажды сообщил мне один спившийся поэт, которого я не видел много лет: к нему пришли из милиции, но в гражданском, и среди прочего невзначай спросили, не помнит ли он, как я и мой посаженный приятель предлагали ему купить у нас иконы. Было это, разумеется, дичью, никаких икон я в жизни в руках не держал, да и к чему поэту была бы икона — разве что помолиться, но их за-

ход с этой стороны сигнализировал, что они перебирают варианты: в те годы не редкость были посадки по фальшивым уголовным делам.

Тогда же каким-то странным образом в моей жизни возник грузин из Симферополя по имени, скажем, Миша. Тип он был колоритный, отчего я и выпивал с ним несколько раз, — потом я узнал стороной, он получил-таки свои восемь лет, а в новые времена погиб в Крыму в какой-то разборке. Был он цеховик, полный прожектов: он брал подряды на оформление ресторанов на взморье, выпускал цветной кафель с голыми бабами, однажды спросил меня, нет ли среди моих церковных знакомых заказчика на пошив партии саванов; в другой раз он явился без звонка и принялся раскладывать на кухонном столе всякую ювелирку, причем каждая вещь была аккуратно завернута в тряпочку; он все протягивал мне полюбоваться то одно, то другое — колечки с бриллиантами, старенькие сережки, финифтовые образочки, — но я спрятал руки за спину, отговорившись, что ничего в этом не смыслю, а сам все ждал, что сейчас откроется дверь и войдут мои друзья в штатском. Никто не вошел; грузин, правда, позвонил через пару часов и сказал, что забыл у меня золотое кольцо, но я ответил, что после его ухода проветривал дом и подметал пол; он исчез навсегда... Вот этой-то зимой я с ней и познакомился, и звали ее, по несколько карикатурному совпадению, тоже Анной.

Впервые я увидел ее в доме Лаймы, была в Москве такая красавица, бывшая манекенщица со слишком гладким и розовым для своих лет лицом, внешторговская жена и наставница юных моделек, нечто среднее

между бандершей и держательницей светского салона. У нее собиралась, конечно, не богема и фрондирующая интеллигенция, как у Вики, и не дипкорпус, но люди с деньгами, так или иначе устроившиеся, обслуга режима, какие-то эстрадные певцы, удачливые члены Союза художников, внешторговцы, даже известные спортсмены, гастролирующие за рубежом музыканты, проверенные и уважаемые люди, что не мешало, впрочем, то одному, то другому из этой довольно циничной публики оставаться на Западе — то сыну знаменитого советского композитора, то театральному художнику, то полковнику КГБ. Салон этот был напрочь лишен намека на богемную беспечность, была лишь духота и осмотрительность, разговоры носили самый необязательный характер, чаще всего — фривольный, заниматься всем этим людям вместе было нечем, разве что меняться партнерами; даже пили мало, чтоб не сболтнуть лишнего. Конечно, и здесь бывали иностранцы, не слависты, разумеется, но бизнесмены, так они себя называли, скорее же — международные аферисты, в той или иной степени нужные режиму и умевшие к режиму подладиться. Короче, во всех отношениях это была тухлая среда, своего рода неформальный бордель, ибо мужчины здесь покупали, а женщины продавались, но, по неизъяснимым законам русского бытия, чистота и этого жанра не выдерживалась, иначе что было бы мне, без денег, там делать.

На тот вечер был назначен пижам-парти, и Лайма принимала гостей в прозрачной тунике, кое-кто из девочек был в бикини, но в основном были женщины в вечерних платьях и мужчины в пиджаках и галстуках,

так что и в этом царила эклектика. Вольно, по-спортивному, были только я и один рок-певец, как раз тогда всплы-вший, отчаянный истерик и балбес, да еще с молоденькой смазливой женой — к тому ж беременной.

Эту самую Анну я не сразу заметил среди роя гостей, помню, в какой-то момент обратил было на нее внимание, но лишь потому, что она, обладавшая несколько уголовной и вполне славянской внешностью, отчего-то говорила по-французски. Она была вполне не в моем вкусе — очень высокая, с худым некрасивым и асимметричным лицом блондинка, с бесцветными быстрыми маленькими глазами, с впалыми щеками, с растянутыми, но припухлыми, похожими на двух червяков, губами, с резкими широкими движениями и — я тогда же это разглядел — с очень крупными ступнями моего, должно быть, размера. На меня она никакого внимания не обращала. Да и я о ней тут же забыл, я все флиртовал с Люськой Дашковой, бывшей манекенщицей и невероятной оторвой, будоражившей Москву — пока ее любовник не выдал ее замуж за англичанина — своими сексуальными эскападами...

Лайма мне позвонила через день и пригласила зайти.

— Нас будет вчетвером, — сказала она, и не выражение это было странным, — она была латышкой, — но само приглашение: мы с ней не были накоротке.

Я тут же сообразил, что меня вызывает Люська, с которой мы были знакомы давно, но интим наш так и ограничился до сих пор тем, что однажды на Пицунде я учил ее играть на бильярде. Но вместо Люськи я обна-

ружил эту самую Анну, с которой до того мы не перемолвились ни словом, к тому ж Лайма с мужем торопились куда-то и вообще Лайма немо подчеркивала, что она ко всему этому имеет косвенное отношение. Обед проходил в стайерском темпе, уже в девять мы сидели в такси и приближались к отелю, в котором жили Анна и ее муж-француз.

Я, замороченный своими неприятностями, не видел в поведении Анны ничего странного: дама, вырвавшаяся некогда в Париж, вынуждена опять коротать время на родине, куда по делам сослали ее супруга; на приеме она высмотрела себе мальчика, с которым и решила развлечься. Мне же было, в общем, все равно: лучше уж пить виски ее мужа, чем проводить время в пивной.

Отель был ведомственный, принадлежал Аэрофлоту, Анна с мужем занимали, может быть, единственный двухкомнатный люкс. Муж-электронщик налаживал здесь какое-то оборудование и жил в этой гостинице за счет заказчиков. Для меня это было удобно: режим в отеле был далек от интуристовского. В номере меня удивило обилие вещей — включая звуковую систему и видеомэгнитофон, — Анна, наливая мне «Тичерс», объяснила, что командировка ее мужу предстоит долгая. Она пустила в ход свои чары, оказавшись в известном роде шармершей, и первое впечатление сменилось даже на приятное. Была особая пикантность в ее положении француженки в сочетании с ее русским выговором — южнопровинциальным; к тому ж она была шепелява, так что речь ее походила на какую-то варварскую гнусавую музыку.

Для пущего подогрева, наверное, она поставила кассету с «Эммануэль». Забавно, но в то время в Союзе эта бесхитростная порнография звучала как чистое откровение, не говоря уж о том, что подавляющая часть населения никогда в жизни не смотрела видео. Отечественный порноопыт исчерпывался переснятыми скандинавскими журналами — в лучшем случае, в худшем — самодельными игральными картами, какими торговали в электричках глухонемые, — это была традиционная сфера их бизнеса. Анна насмешливо и испытующе наблюдала за мной.

— Как безнравственно, — комментировала она, и я не слышал в ее словах иронии, меня это зрелище действительно до известной степени шокировало: мы ведь здесь, в России, все чудовищные ханжи. Впрочем, кажется, тогда я впервые видел эротическое кино...

Она оказалась вполне развратной тварью. Была она, безусловно, из московских путан, но обладала силой воли, превосходной фигурой и поразительной провинциальной приспособляемостью. Позже она мне рассказывала, что даже ей было очень непросто примениться к парижским своим обстоятельствам — к безделью, заточению и относительному богатству, не говоря уж о том, что крайне приблизительно называют эмигрантским культурным шоком. Она не пила, не ширялась и не курила, не читала книжек, так что единственным содержанием ее жизни всегда был только секс и — что довольно забавно — осмотр старинных развалин, которые, по ее словам, ее возбуждали; по этому поводу она рассказала историю, что однажды экскурсовод, чтобы продемонстрировать группе японцев какую-то фреску в

нише, осветил ее фонариком, когда она в темноте мастурбировала, — впрочем, она вполне могла видеть что-нибудь подобное в каком-нибудь эротическом фильме.

Она была в своем роде артисткой пола. Москва ей давала прекрасные возможности для успешных гастролей: здесь она была почти иностранкой, муж ни бумбум по-русски, а деньги, добытые фарцовкой, она хранила в чемодане, — у нее буквально был полный чемодан денег, небольшой такой чемоданчик коричневой кожи, в каких старушки хранят письма и прочие реликвии молодости.

Помимо самомнения глухой провинциалки, оказавшейся иностранкой, и редкостной — с интеллигентской точки зрения, конечно — неотесанности, в ней были и многие своеобразные достоинства: восприимчивость, энергия, вкус во всем, что касалось ее внешности, и тонкое знание людских слабостей, какое дается лишь долгой работой в сервисе. Разумеется, как и принято в полукриминальной среде, из которой она вышла, внутренняя ее сила принимала в основном формы агрессивные, и унижать других было ее страстью. У нее была подруга детства, с которой росли они то ли в Таганроге, то ли в Краснодаре, оказавшаяся в Москве, так та ходила, конечно же, у Анны в служанках. Был у нее дружок по имени, кажется, Дима, врач по специальности, коренастый неглупый малый, но совершенно помешанный на бабах, из тех, кто затаскивает женщин с улицы среди бела дня и тут же в прихожей трахает, не беря в голову внешность, возраст и прочие привходящие обстоятельства. В одну из первых наших встреч Анна пригласила меня и этого Диму с подругой в «Русь», где

тот в кабинете тут же раздел свою пассивность и принялся пользоваться прямо на столе, еще не накрытом, причем, держа партнершу за загривок, все наклонял ее голову так, чтоб ей было ловчее взять у меня в рот. Анна при этом внимательно наблюдала за моей реакцией, и мне приходилось оставаться бесстрастным. В другой раз она позвала меня к себе в отель, и я застал в номере запуганную раздетую девчонку аспирантского вида, растерянную и, кажется, зачарованную, и мне был продемонстрирован сеанс лесбийской любви, причем, как потом выяснилось, ничего, кроме пениса, девушка в своей недолгой жизни никогда не лизала. Наконец, как-то она предъявила мне свои фотографии в голом виде, сделанные во вкусе дешевой эротики, доллары вперемежку с вульвой, что в тогдашнем русском климате было вдвойне запретно, и рассказала со смехом, что, когда фотограф достаточно возбуждился, она трахнула его в анус горлышком бутылки от шампанского, — и это при том, что фотограф не был, кажется, голубым, иначе с чего бы ему так возбуждаться. Впрочем, как даже и вполне иностранные дамы, Анна любила казаться нам, обитателям советского мира, — Снегурочкой, так что жертвы ее наклонностей тут же бывали щедро вознаграждаемы... Кстати — о фотографии: с одного якобы подброшенного ее мужу снимка и начались мои, изнуряющие меня самого, подозрения. И это при том, что я как огня боялся обнаружить у себя симптомы той паранойи, в какой жила тогда страна.

Однажды Анна предъявила мне фото, на котором мы беззаботно целовались при выходе, кажется, из Дома композиторов. Снимок был сделан ночью, с помо-

щью блица. По ее словам, изображение было получено ее мужем, которому подбросил его какой-то аноним.

— Видишь, за нами следят, — сказала Анна, что само по себе было весьма вероятным.

Я-то сразу задергался, но в ее интонации меня что-то насторожило. Что-то похожее на насмешку. Во всяком случае, она была далека от какой-либо озабоченности.

Ее муж то уезжал по делам в Париж, то возникал ненадолго. Однажды я видел его — крепкий малый, слегка лысеющий, с хорошим лбом, под которым были спрятаны, видно, сложные электронные схемы; мы с ним в молчании пили пиво с орешками и смотрели Уимблдон в записи. По словам Анны, он любил только спорт, джаз, марихуану, а женщинами не интересовался; он был родом из хиппи, как у нас — все родом из детства, но из хорошей семьи, и сейчас социализовался, если можно так сказать о французе, женатом на советской путане. Я уже был знаком с детьми парижского мая, меня не удивляли рассказы Анны, что на «Жизели» в Большом он только и делал, что громко повторял, сидя в партере, — фак ю, фак ю! Впервые она зауважала его, когда, вернувшись домой с работы и застав ее пьяной и хохочущей, он ни слова не сказал, прошел на кухню, а потом молча выплеснул ей в морду полное ведро воды. Вторую проверку он прошел, когда она разбилась с любовником на машине: он открыл кошелек, и ее рожу в больнице довольно прилично подштопали. Наконец, в третий раз, когда к ней привязались эти, из дэ-эстэ, и принялись таскать ее на допросы, наставляя в физиономию яркую лампу, муж позвонил родителям, с ко-

торами не перезванивался месяцами, они нажали на какие-то кнопки, и от Анны отстали. По ее словам, спал он с ней очень редко, и то лишь после того, как заставлял надеть черное белье из секс-шопа; и дома редко бывал — пропадал на джам-сейшнах и теннисных турнирах, летая туда-сюда по Европе.

— Я люблю его, — говаривала она задумчиво, — но ребенка от него не хочу. Я хочу, чтобы у меня были русские дети...

Со времени нашего знакомства и первого вечера в обществе Эммануэль, я так и коротал свои дни: между допросами и беседами в ГБ и прилежным освоением сексуального опыта моей парижской подружки, накопленного ею в тенистых скверах родного южного города, на московской панели и на задворках столицы мира. Как-то меня позвала к себе Вика. К моему удивлению, мы оказались вдвоем. Она предложила вина, поставила пластинку, весело смеялась; это было чудненько, стадию флирта — она выволокла меня ночью на покатушку крышу своего девятиэтажного дома с видом на Патриарший и прижала к вентиляционному коробу — мы давно миновали, плавно перейдя к дружеской платонике, — и я навсегда сохранил глубокое уважение к ней, немолодой даме, способной на такую эквилибристику в порыве страсти. Приглядевшись, я заметил, что на этот раз глаза ее сосредоточены и трезвы, впрочем, она и не пила почти никогда. Прервав на секунду смех и болтовню, она вдруг наклонилась к самому моему уху и отдельно прошептала: «Будь очень осторожен». И громко захохотала — для них. Что ж, я благодарен тебе, Вика; и даже не столько за тогдашнее предупреждение,

дение — что оно могло изменить, сколько за доверие — откуда тебе было знать, что при всей нашей тогда общей задроченности, — а ведь ты не могла рисковать, ты должна была быть уверена вполне, — я, в отличие от тебя самой, смог не запутаться у них в сетях...

Весной Анна предложила смотаться на недельку в Ялту. Муж был не помеха, к московским похождениям жены он относился индифферентно, во всяком случае, очень снисходительно. Вероятно, будучи парнем неглупым, он подозревал о повязках своей половины и просто не желал вмешиваться, чтобы не навредить. Однако именно теперь, обсуждая со мной будущую вылазку, Анна видимо нервничала, прикидывая, как мы там устроимся, вслух считала свои дни, что было и вовсе странно, и даже позвонила матери — предупредить о нашей афере на случай звонка мужа, хоть какой у них мог быть разговор — мама ни на одном языке, кроме суржика, наверняка не говорила. Впрочем, вся эта суэта казалась мне блефом. После сигнала Вики, после подброшенной фотографии я Анне не верил. И стал еще более подозрительным, когда она как-то в постели, среди приставаний скажи, я твой козлик вдруг прошептала, жарко меня обняв: «Я боюсь за тебя». Что ж, если мои подозрения были справедливы и не являлись плодом мании преследования, то следовало согласиться: как и все в нашей стране, контора тоже работает из рук вон плохо, ведь недалеко уедешь с такими секретными сотрудниками, как Анна или Вика. Ведь эта проговорка Анны в постели была, конечно, отнюдь не порывом страсти, но тоже в такой форме предупреждением.

Впрочем, как я ни раскидывал, не видно было никакого подвоха в ее предложении. Мы решили ехать. Был конец мая, и не составило бы труда найти номер в том же отеле, где некогда я гулял с другими французами. Правда, по правилам мы никак не могли бы поселиться в одной комнате, но у Анны были деньги, а за взятку все можно было уладить. После получасового отсутствия она вернулась с ключами от номера, заявив, что зарегистрировала нас как супругов под вымышленной фамилией. Это меня встревожило: за деньги проще было нанять рядом два одноместных номера, но по своим собственным паспортам. Впрочем, я объяснил себе этот маневр тем, что она не хочет ни в коем случае светить в отеле свою французскую фамилию.

Боже, как плох и убог был этот отель теперь, спустя пять лет. Да и погода стояла ни к черту. И шампанское стало еще более кислым. И привкус молодой сладкой воли испарился без следа. Да и влюбленности не было. Анна же, напротив, — была сама романтичность. По ночам она никак не отпускала меня, причем отчего-то свела свои обычно разнообразные ласки к одной-единственной позиции. Когда, наконец, она успокаивалась, я долго лежал на спине, ненавидя этот отель и этот номер, по которому она разбросала свои тряпки, свои гулливерские туфли и пачки денег. Днем же делать нам было друг с другом ровным счетом нечего. С утра до вечера моросил дождь; пить до часу дня мне не позволялось; после ужина мы шли в унылое варьете, здесь же, в цоколе отеля, и пару раз принимали приглашение украинского академика из Харькова, который проживал в люксе со смазливym парубком, узкоплечим и висло-

задым. Эта пара, в отличие от меня, упивалась своим медовым месяцем, днем играла в бассейне, как дельфины, по вечерам танцевала, томно прижавшись, в пустом зале ресторана, и лысый, лет пятидесяти с лишком академик щеголевато вел в танго своего усатого молодца, вялого и томного — в отличие от спортивно подтянутого папаши... Меня раздражала вдруг проснувшаяся в Анне неутомимость, — впрочем, мы никогда не проводили столько времени рядом. Как и ее асимметричное лицо, как и глупое тщеславие удачливой фарцовщицы, и я мстительно думал, высвобождая свое плечо, на котором она приладилась засыпать, что в недоступном мне и сказочном Париже она всего лишь домохозяйка, которой раз в неделю скарредный муж отсчитывает франки на ингредиенты лукового супа и дешевые тряпки из магазина готового платья. Раздражало меня и море, все время сморщенное и грязного цвета. И Ласточкино гнездо, куда мы отправились на катере под дождем. Стоя на веранде замка, зачем-то втащенного на неудобную скалу, я с отвращением слушал ее голос: она рассказывала, как в каком-то парижском дорогом клубе, куда водил ее любовник, некто неизвестный взял ее сзади, пока она наблюдала, как в нише занимается любовью какая-то пара. Мне было тошно. Я злился на себя. Я оказался заложником, живя здесь на ее деньги, — по какому-то наитию, небольшую сумму, которую я прихватил с собою, я избегал тратить.

На четвертый день она раскапризничалась.

Днем в ресторане принялась заигрывать с официантом, потом исчезла на два часа из номера, а вернувшись, объявила, что мы вечером едем ужинать в город-

ской ресторан, причем выбрала самый сомнительный, рядом с пристанью, где швартовались большие пассажирские корабли.

В кабаке стоял дым коромыслом. Здесь гуляли матросы и местные проститутки, готовившиеся к скорому началу сезона. Одна малышка за соседним столиком все пыталась поймать мой взгляд и, встретившись со мной глазами, совала палец в рот, кивая в сторону темной веранды: грубый и старый трюк, там в темноте меня бы раздели до нитки. Анна напивалась, что было на нее не похоже.

— Скажи, как ты будешь меня сегодня любить, — приставала она ко мне, тычась рукой под столом в мою ширинку, — сзади хочешь?

В довершение всего, ее повадился приглашать на танец кавалер странно комсомольского для этого кабака вида. Моя паранойя тут же дала себя знать: ишь какой трезвый, чистый и собранный, за километр видно топтуна — так выглядели в давние годы члены студенческого оперативного отряда в университете. Чем больше пила она, тем меньше старался пить я сам.

Когда при выходе из ресторана мы садились в такси, в машину нашу попросился паренек — не отличимый внешне от Анниного ухажера из кабака. На подъезде к отелю я испытывал острое чувство опасности. Так у меня бывало только несколько раз в жизни, и это чувство никогда не подводило. Я давно дал себе зарок безоговорочно доверять ему, не боясь выглядеть смешным со стороны или кого-то обидеть. Анна, едва держась на ногах, — притворяется, решил я, — замешкалась в холле, я сказал, что буду ждать ее в номере. Поднявшись, я

в секунду собрал сумку, выглянул в коридор — было пусто. Я побежал не к лифтам, а к боковой лестнице, спустился вниз и вышел из отеля черным ходом. Такси я взял не на освещенной площадке, а лишь километра за два. Причем поехал не к троллейбусной станции, а в Гурзуф, и только там пересел на автобус до Симферополя. Билетов в Москву было сколько хочешь. При регистрации я вел себя, как разведчик, готовясь, что меня будут брать. Отчего-то не брали. И пока летел, я испытывал чувство, что избежал неведомой, но смертельной опасности.

Дома я был уже к утру, и сразу же позвонил ей в Ялту. Судя по голосу, она не спала, сказала скороговоркой, что у нее неприятности и что она вылетает днем. Мне показалось, что в номере она была не одна, но вряд ли это было любовное приключение, в таких случаях ее голос определенным образом вибрировал.

Я не поленился и встретил ее во Внуково.

Ее вид поразил меня: лицо еще больше осунулось, тени под глазами, серая, нездоровая кожа, как если бы она не спала много суток, — впрочем, она неважно переносила самолеты. И вместе с тем выражение ее лица было вполне восторженное, как будто она была счастлива меня видеть. Она смотрела на меня лучащимися глазами, обняла за талию, и мы с ней тут же, в аэропорту, отправились в ресторан. Мы пили коньяк, закусывали икрой и дорогой рыбой, она говорила сбивчиво, то и дело смеялась, — она выглядела как человек, провернувший трудное дело. Оказалось, ночью к ней вломилось местное ГБ. Кое-как отвертелась, подмигивала она. «К тому же — нам и трех дней хватило, а, козлик?» Ко-

нечно, соображал я, проверка была по мою душу, она о ней знала; собственно, она все сделала, чтобы я сбежал, не проговорившись ни словом. Поэтому она и пила так много — кагэбэшники могли пенять лишь на себя, что меня упустили... Мне и в голову не приходило, что брать меня в Ялте за нарушение гостиничного режима — чересчур громоздкая акция для Лубянки. А что женщины, даже мало пьющие в обычных обстоятельствах, иногда напиваются, если любовник не слишком рьяно разделяет их пыл...

После этого вояжа мы стали видеться редко. А как-то, когда я набрал ее номер, я услышал в трубке пьяный мужской голос, принадлежавший не иначе, как периферийному аэрофлотовскому боссу. Босс, в ответ на мой вопрос об Анне, сообщил мне, что я козел. Зачем, не веря ей, я звонил? Должно быть, много крепче, чем добро, нас привязывает к другим зло. И кроме того, без нее я никак не мог разгадать загадку — неужели же контора посылала меня в Ялту, а Анна — лишь выполняла задание? Подсознательно, должно быть, я хотел, чтоб было именно так. Будто не я сам с обычной в общем-то блядью, разбогатевшей на разнице курса, поперся в романтическое турне — на ее деньги, но все-таки сильная тайная служба дала своему секретному сотруднику такое задание. Как ни посмотри, но второе могло бы несколько повысить меня в собственных глазах, тогда как первое — особой значительности не прибавляло...

Впрочем, вскоре в моих отношениях с КГБ наступила-таки известная ясность. Двое гавриков, что меня профилактировали, при очередном вызове на улицу

Дзержинского положили передо мной бумажку весьма глупого содержания, именовавшуюся протоколом предупреждения. Там было несколько пунктов, и дело сводилось к тому, что если я буду продолжать печататься за границей и распространять заведомо ложную и клеветническую информацию, — так на их изящном языке называлась, по-видимому, моя проза, — то они поставят об этом в известность прокуратуру. Это была их обычная липа, прокуратура, естественно, всегда была у них под ногтем. Я начертил на полях, что с содержанием бумаги не согласен, но с бумагой ознакомлен. И расписался. Они убрали эту филькину грамоту с облегчением: им, кажется, тоже надоело со мной возиться. На прощание один из них, до того изображавший строгого следователя, тогда как второй всегда играл доброго, сладким голосом посоветовал мне прекратить общение с иностранцами. Это было кстати, как раз сегодня у меня было назначено свидание с корреспондентом западного агентства.

Анну я увидел-таки еще раз — лет через шесть. Жизнь моя к тому времени совершенно переменилась, и когда я услышал в трубке ее голос, то не сразу сообразил, с кем говорю. Она попросила разрешения зайти ко мне, и я продиктовал адрес — из Бибирево я давно переехал. К моему удивлению, она пришла не одна. Она привела за руку миловидную девчушку лет шести, это была ее дочь. Я проводил их в комнату, сунул девочке какую-то книжку. Мы болтали с Анной, пили «Ахашени», она сказала:

— Нравится тебе моя дочь, на кого она похожа?

Девочка была похожа на мать: такое же узенькое личико, такие же маленькие глазки и припухлые губки.

— На тебя, — ответил я.

Анна засмеялась:

— А на тебя? помнишь Ялту?

Я посмотрел на ребенка. Я торопливо сопоставлял сроки. И вся история припомнилась мне совсем в ином свете.

глава XI

НАВИГАЦИЯ В ФИОРДЕ

Это была со всех сторон образцовая супружеская пара. Он — офицер флота одной из стран Атлантического блока, крепко сложенный викинг лет пятидесяти, с мужественного лица которого не сходили загар, румянец и доброжелательная улыбка; она — эффектная дама по ту сторону сорока, в меру экстравагантная, с крепкими большими белыми зубами, всегда оживленная. И его улыбка, и ее живость, впрочем, были им положены по протоколу, поскольку муж состоял военным атташе при посольстве своей страны, а жена состояла при муже хозяйкой на широкую ногу поставленного дома в Сад-Сэм, как называли западные дипы и корры большое здание на Садово-Самотечной, где жили иностранцы только высокого разбора. Свои дипломатические обязанности они вполне освоили, что ни вечер — тусовки то у американского посла, то на приемах в Кремле, он неплохо выучился по-русски, она тоже учи-

лась русскому и игре на флейте; по утрам они парюю бежали на Цветном бульваре, поддерживая форму, но оба предпочитали общество чуть побогемнее, чем замороженный инструкциями, замкнутый на себя и мрачноватый московский дипломатический корпус, каким он только и мог быть в самом центре империи зла, — это было как раз рейгановское время, — а потому мечтали обзавестись русскими друзьями. Что ж, даже в сталинских пьесах военные моряки чуть что — принимались ухаживать за цыганками, а женились на театральных артистках.

Я попался в их сети, когда они их только-только раскинули — в салоне все той же Вики, на очередном вернисаже. Едва мы оказались с ними перед одной и той же картиной, жена, включив на большие обороты отлаженный механизм общения, пристала ко мне — не художник ли я? Честно говоря, в тот момент мне было совершенно на нее наплевать. А эта механическая любезность светских западных дам, с которыми ровным счетом не о чем говорить и которые смотрят на тебя, как на забавную фольклорную зверушку, вообще вызвала во мне злобу, и я огрызнулся: мол, нет, я писатель, причем непечатающийся. И повернулся, чтобы ее покинуть.

— Как твое имя? — спросила она меня вслед.

Я назвался.

— А я — Ульрика, — сказала она, обнажив свои большие зубы, протянула руку и попыталась произнести мою чересчур сложную для нее фамилию по слогам.

Меня позабавило ее прилежание; она же потом говорила, что была удивлена моим нежеланием с нею

знакомиться, — все русские в салоне и вне его только и мечтали сблизиться с богатыми иностранцами; к тому ж, вспоминала она позже, я ей дал ясно понять, что она — западная дура, это ее выражение, и ни черта не понимает. Помимо всего прочего, полагаю, она не привыкла, как и любая яркая дама — а она была хороша, — чтобы мужчины оставались равнодушны к ее красоте, но, увы, она была не в моем вкусе, чересчур явно в ее фигуре угадывалась спортивная мускулистость, тогда как в матронах этого возраста, на мой взгляд, хороша как раз известная расплывчатость и волнующая прелесть чуть перезревшего порока; к тому ж на ее открытом лице были написаны честность и провинциальная склонность к порывам, а в глазах мерцало что-то девическое. Она была как бы вся напоказ, и эта поджарая определенность и подрагивающая чуткость — но без истерики, — я знаю, бывают свойственны породистым, хорошим и глубоким женщинам, но если бы я и был в то время склонен к флирту, то нуждался бы, пожалуй, в чем-нибудь попроще и покрепче и менее газированном... Я был очень удивлен, когда через пару недель получил от нее приглашение на ужин.

Пригласила она меня сама. Не письменно, но позвонив по телефону, — номер, как потом выяснилось, она взяла у Вики. Звонила она — я это сразу же понял — из автомата, и тогда я не знал — случайность ли это или трезвая предосторожность. Она явно читала текст по бумажке, не надеясь на свой устный русский: потом я узнал, что у нее всегда было все заранее продумано и подготовлено. Из ее декламации можно было понять,

что я должен ждать тогда-то и во столько-то у Колонного зала.

— О'кей, — сказал я, и мы повесили трубки.

Если это был флирт, то для меня весьма диковинный — ни одна из известных мне отечественных леди не назначила бы первое свидание своему объекту за ужином в кругу собственной семьи. Впрочем, решил я, наверняка это будет не ужин, но многолюдный фуршет.

Помню, выйдя из здания КГБ на Дзержинского, я шел пешком до Пушкинской, поскольку у меня в запасе было минут сорок, — моя судьба оказалась не настолько игривой, чтобы с точностью подгадать не только день, но и час. Ждать пришлось недолго: из притормозившего БМВ, невероятно шикарного по тем московским временам, махнул рукой знакомый корреспондент по имени Вильгельм, просто Виля, как все его называли, и я солнечным зайчиком шмыгнул на заднее сидение, — на переднем сидела его жена, которую я видел впервые, на первый взгляд — вполне бесцветная. Вскоре мы, не тормозя у будки охраны, закатали во двор Сад-Сэма, и какое-то давнее воспоминание карибского аромата, чуть плеснуло в моей душе.

Супруги встретили нас у дверей, одетые, как на пикник; вообще, в воздухе квартиры, как сказал бы Гоголь, было расположение мы запросто, и в этом сказывалось много деликатности — хозяева могли предвидеть, что их советские гости не смогут быть одеты блэк тай, так что сразу же отбросили всякую официальность. Пока хозяйка демонстрировала нам фотографии своих троих детей — и это при ее-то фигуре, — показывала квартиру и угощала аперитивом, хозяин быстро смотал-

ся на улицу и извлек оттуда еще одну русскую, художницу-примитивистку, выловленную ими тоже у Вики, фигурой похожую на полено, лицом на совковую лопату, в каком-то народном наряде, я сказал бы — чухонском, хоть и слаб в этнографии. Осмотр апартаментов был бегло повторен, но план экскурсии на этот раз расширился за счет посещения спальни хозяев, где гостям была предъявлена необъятного размера кровать со сказочным матрасом, полным воды, и мне не пришло в голову тогда же спросить — морской ли? Быть может, где-то был и мотор, с помощью которого муж мог имитировать родную стихию и задавать нужное число штормовых баллов; но скорее, матрас был механическим, и штиль в нем приходилось преодолевать усилиями самих гребцов. Так или иначе, этот матрас использовался хозяевами при его демонстрации посетителям для добродушного самоподтрунивания, что создавало атмосферу радушия вне протокола, направляло курс предстоящего вечера в сторону симпатичной фамиллярности.

Ужин был накрыт на кухне — по-домашнему. За столом нас оказалось — четыре пары, присоединилась еще и чета норвежцев, живших в этом же доме, он был рослым моряком, она — рослой, кажется скульпторшей, и их я тоже однажды видел у Вики. Возле каждого прибора лежала записочка с именем гостя, согласно своей карточке я оказался по правую руку хозяйки, сидевшей во главе стола; хозяин расположился напротив жены, и справа от него была устроена чухонка, так что мы с ней образовали своего рода светскую диагональ. Норвежец — его звали Хуго — и Виля, обменявшись женами,

сидели по разным берегам. Меню восхитило бесхитростью: помимо закусок, черной икры и норвежской селедки под «Абсолют», было лишь одно горячее блюдо — жареная рыба с пюре и зеленой стручковой фасолью, причем с красным вином; ни сыра, ни шампанского не давали, а кофе и фрукты — после перехода в гостиную и к лонг-дринку. Моя наивность простиралась тогда так далеко, что я решил, будто и это, домашнее, меню сочинено специально для нас, советских, из соображений не оскорблять их привычной роскошью нашу русскую гордую нищету, — мне в голову не могло прийти, что для богатых западных людей этот ужин — вполне параден.

За столом ровным счетом ничего не произошло, не считая мимолетного эпизода под ним — в самом финале, когда рыба была почти съедена. Виля оказался образцовым холериком, говорил без устали, ругал на чем свет КГБ, который то и дело прокалывал колеса его машины, а заодно ругал и советскую власть, позже он добился своего, был выслан на самом пороге перестройки, что весьма помогло его карьере. Он говорил по-русски совершенно свободно, остальным приходилось трускить по мере возможности за ним: викинг великодушно ухаживал за примитивисткой — она что-то благодарно кудахта — и вставлял в монолог Вили направляющие реплики; Ульрика не без лукавства кокетничала со мной, изредка в штормовом море русского языка цепляясь за обломки английского. Я же был чинен до поры, вспоминая приемы этикета, которым некогда успела обучить меня покойная бабушка, но, полагая это необходимым, в ответ на красноречивые взгля-

ды хозяйки в какой-то момент протянул левую руку и сжал под столом ее колено. К моему удивлению, она дернула ногой, будто я ее укусил, будто вовсе ничего такого не ожидала; но улыбка ее не дрогнула; она лишь слегка дотронулась кончиками пальцев до моего предплечья и незаметно покачала головой...

Собственно, этим касанием все и должно было бы закончиться. Супруги уехали на летние каникулы на юг Франции, — этот вояж обсуждался за тем же ужином, я — купил полуразрушенную избу в верховьях Волги за бесценок и просидел в ней затворником до самой половины сентября, ловил рыбу в озере, ходил по грибы, пил самогон с мужиками и пытался сочинять, но дальше нескольких страниц не двинулся. Это должна была быть не новая книга, но реконструкция той, утраченной, почти готовой, и я долго не мог смириться с тем, что восстановить потерянный текст — невозможно, что это — прожитая глава и последняя ее страница перевернута. Я вспоминал украденный на вокзале хэмингуэвский чемодан, сгоревшие «Мертвые души», потерянную спяну авоську с новой рукописью автора «Москва — Петушки», а там и пущенные в распыл сами писательские жизни, тонны архивов, сгоревших и погибших на Лубянке, рухнувшее величие Рима, наконец, — ничто не приносило утешения: недописанный роман и половина пьески, оказалось, были мне дороже, чем вся Александрийская библиотека.

Шел самый пустой период моей жизни: меня ждала пустая Москва и пустая квартира; был пуст мой письменный стол и пусты карманы; и пусты были разговоры по оставшимся телефонным номерам. Дверца клетки

за-хлопнулась, казалось, навсегда. Могло ли мне прийти в голову, что звонок Ульрики в начале октября — не только начало новой связи, но, быть может, весть об избавлении.

Она волновалась. Она не могла найти русских слов. Она, как и в первый раз, читала по заготовленной бумажке. Я вслушивался в ее невозможный русский, от волнения сделавшийся и вовсе неразборчивым. Кажется, она хотела сказать, что ей нужно меня увидеть. Это слово она повторила несколько раз — по слогам. Я сказал, что к ее услугам. По буквам она продиктовала мне время и место. Признаюсь, я был немало удивлен: трудно было измыслить хоть какую-нибудь более или менее правдоподобную причину, по какой ей было нужно меня повидать. Теряясь в догадках, я мог предположить только, что она разделяет некоторые обязанности мужа. Муж, конечно, был шпион, но какой прок мог бы я принести НАТО? Я не знал ни единого стратегического секрета, разве что мог поделиться своими наблюдениями о настроениях в среде творческой интеллигенции. Мой доклад был бы лапидарен, настроение хреновое. Мельком подумал я и о том, что КГБ вряд ли понравятся мои конспиративные встречи с женой западного разведчика, однако — как взлетели бы мои писательские акции, придумай мне контора шпионскую биографию.

Свидание было назначено на скамейке в саду «Аквариум»; вокруг порхали листья, пахло прелью; Ульрика, извинившись за свой язык, попросила дать ей время высказаться и ее не перебивать. Держа на коленях русский разговорник и словарь, она понесла такую ахинею,

какой я не слышал никогда ни до, ни после ни от одной женщины в здравом уме. Но она не походила на безумицу, хоть ее речь и была вполне фантастична. Суть дела сводилась вот к чему: они с Отто любят друг друга уже четверть века, результатом чего стали трое детей, два мальчика и девочка, не поленилась уточнить она, впрочем, это было мне уже известно; ни он, ни она никогда один другому не изменяли, что так же точно, как то, что мы сидим в Москве поздним бабьим летом; они глубоко привязаны друг к другу и один другого уважают, и это место было дважды сверено по словарю; но сейчас дети выросли, младшая уже почти взрослая, а Москва для нее, Ульрики, как начало новой жизни; и в этом втором рождении она как бы все начинает заново, и уже решено, что ты — то есть я — будешь моим вторым мужчиной. Я даже не успел покоробиться столь откровенной протестантской рациональностью, воспротивиться всеми своими русскими чувствами, так захватывающ был ее дальнейший рассказ. Оказалось, это решение — не принципиальное, тут, кажется, все давно было решено, но касательно именно меня — далось ей очень нелегко: с одной стороны, во время того ужина я прошел испытание, с другой — у них не принято класть хозяйке под стол руку на колено; к тому же, кажется, я слишком много пью для интеллектуала, каким, по ее мнению, являюсь; но с третьей стороны, я очень симпатичен Отто, а значит, она сможет часто приглашать меня на парти... Она все листала словарь, лазала в разговорник, меня она не злила, но забавляла. Она так неподдельно волновалась, что было невозможно заподозрить во всем этом розыгрыш. Она с полнейшим просто-

душием пыталась донести в деталях свое трудное решение, и при этом ей в голову не приходило, что я могу отказаться от предложенной мне почетной и ответственной роли в столь образцово-добропорядочной дамской жизни: по-видимому, пожиманием колени я уже сказал, с ее точки зрения, свое последнее слово. Естественно, мне пришла в голову циничная мысль, что все делается с ведома и одобрения мужа, а весь этот бред нужен лишь для того, чтобы держать меня в узде и не позволить компрометировать семейство неосторожными движениями. Но и в этом не было никакого резона, легенда о безгрешности брака казалась вполне лишней в этом случае, да и красные пятна, которыми она то и дело покрывалась перед тем, как побледнеть, никак не напоминали обычное кокетство... Впрочем, в будущем мне неоднократно приходилось стыдиться собственной подозрительности, столь сосредоточенно и жертвенно относилась она к своей второй любви.

Конечно, я был легкомыслен: ее серьезность поначалу представлялась мне разве что пикантной, сама ситуация — увлекательно рискованной. Быть в те годы любовником жены западного военного атташе было и опасно, и экстравагантно. Для западных спецслужб должно было быть понятным, что я внедрен в постель их сотрудника не иначе как КГБ; сам же КГБ должен был быть поставленным в тупик — попытаться завербовать меня, обшмонанного, выброшенного из литературной жизни и в довершение их стараниями оставшегося холостым, социально обиженного, говоря их языком, было бы довольно глупо; они ведь должны были бы мне открыть хоть отчасти технологию шпионского дела — не

отлова дураков-литераторов, что, как говаривал мой друг Попов, все равно что мучить котов, — настоящего шпионского дела, причем с полными гарантиями, что я рано или поздно распишу всю историю где-нибудь в «Нью-Йорк Таймс»; но и пресекать эту связь им было, надо полагать, не с руки, скорее, они должны были бы ее лелеять, постепенно собирая и на нее, а заодно и на меня компромат; а заодно на ее мужа и блок НАТО в целом... Так или иначе, мы скрепили тут же на лавочке под лысеющими кронами наш договор долгим поцелуем в губы, что заменило наши подписи под любовным планом Ульрики и моим на него согласием.

Но — все развивалось не так быстро, не так быстро. Нашлось множество обстоятельств — знакомых мне лишь из французских романов про полуторавековой давности адюльтеры, — препятствующих немедленной ратификации. Ульрика вела напряженный дипломатический образ жизни, и, хоть я бывал приглашаем теперь на приемы в их дом, нам удавалось лишь пожать украдкой друг другу руки где-нибудь в прихожей. По уикэндам муж, как водится, не служил, и уикэнды тоже выпадали. В будние дни с десяти до четырех в их квартире находилась горничная от Управления обслуживания дипкорпуса, лицемерная пролетарка, ухитрявшаяся изображать смиренность в духе жены Версилова. О том, чтобы отъехать ко мне в Бибирево, даже и разговора не было: из дома Ульрика отлучалась лишь за покупками, и ее всегда возил на автомобиле другой кагэбэшник из УПДК — шофер-весельчак Коля, мужик лет сорока и поклонник почему-то полузапрещенной тогда группы «Машина времени». Лишь изредка она могла отпро-

ситься у своего сопровождения, сославшись на то, что хочет прогуляться, причем выполняла всегда один и тот же маршрут — до Центрального рынка и назад, и на рынке, видимо в качестве камуфляжа, закупалось огромное количество цветов и экзотических кавказских фруктов, каких на боны в специальном шопе для дипломатов на Краснопресненской, кажется, не продавали. Целый месяц Центральный рынок и прилегающая к нему территория и были местом наших свиданий тет-а-тет, и — ясное дело — эта рыночная платоника скоро стала мне поперек горла. Представьте: толпа ханыг на заплеванных ступенях, уголовные рожи торговцев краденной черной икрой, тюбетейки, ушанки и кепки, очень много золотых зубов и загара не по сезону, и — с распущенными каштановыми волосами, на голову выше самого рослого чучмека, то ли в ярчайшей развевающейся юбке, то ли в ярких брючках по щиколотку, непременно в кроссовках, каких никогда не видела и прикинутая московская молодежь, с рюкзаком ярко-желтой кожи за плечами, набитым хурмой, айвой, алычой, гранатами, с грандиозным букетом черно-бордовых роз, со сверкающей улыбкой во всю свою великолепную пасть идет она ко мне навстречу по затоптанному подталому грязному снегу, полному окурков и семечной чешуи, и толпа раздается в стороны, а мне — мне делается зябко в своей курточке под алчными взглядами соотечественников...

Все разрешилось гротескным образом — первым подходящим для воссоединения днем оказалось Седьмое ноября. Отто приветствовал на трибуне парад на Красной площади, горничная и мой тезка-шофер полу-

чили увольнительные. После увертюры на диване в гостиной — с рюмкой коньяка «Реми Мартен», когда по телевизору было видно, что сухопутные войска сменились первыми танковыми колоннами, мы добрались-таки до постели. Стихия в матрасе, кажется, уже чуть волновалась. Как только я лег, то ощутил приятную качку. Мы оба кончили, когда танки еще шли. Ульрика оказалась приучена к незатейливому походному сексу, если б не вода за бортом — я сказал бы: от инфантерии. После финиша ей нужно было передохнуть, как мужчине. Это было по-своему удобно, во всяком случае, перед продолжением я успел пропустить еще пару рюмок и выкурить сигарету «Кэмел», что для меня, как для любого советского аборигена в те годы, было большой удачей. К началу следующего тура по Красной площади шли уже ракетные войска. Меня отвлекали звуки бра-вурного марша и торжественно-карамельный голос диктора, но она, казалось, ничего не слышала и кончила на этот раз весьма бурно, со скрежетом зубов и утробным рычанием, и лицо ее скорчилось в некрасивой гримасе, будто она готовилась разрыдаться; мне же удалось сэкономить заряд, иначе и не знаю — получилось бы у меня в третий раз. Когда на экране показалась самая здоровая ракета с закругленной, как у пениса, головой, мы кончили вместе, и над площадью прокатилось переваливающееся, как волна над нами, «ура». Она открыла глаза и посмотрела на меня мутным взором, как спросонья. Потом прошептала что-то на своем языке, я пожаловался, что не понимаю, хоть все отлично понял: она удивлялась самой себе, что так у нее, оказывается, может получаться и еще с кем-то, кроме Отто.

Я попытался состричь что-то в том духе, что такой уж сегодня день — демонстрации советской мощи, совет пауэр, но она эту шутку, мне показалось, пропустила мимо ушей. Начинаясь парад физкультурников, и мне самое время было сваливать. Она вывела меня на улицу, бесстрашно подарив кагэбэшнику в будке улыбку и цветок. Охранник поклонился ей — совсем по-японски; меня восхитило ее самообладание, сам-то я не чаял, когда исчезну из его поля зрения. Она все не выпускала мою руку и заглядывала в глаза, но я торопился уйти — только теперь я почувствовал, как был напряжен в ее дипломатической квартире под дулами неминуемых микрофонов, под колпаком родного ГБ...

Чего я ожидал меньше всего, так это вызова на Цветной бульвар уже на следующее утро. Оказалось, Отто отправился на обед с сослуживцами-мужчинами, и день у Ульрики был свободен. Мы встретились на Трубной, мы устроились в довольно уютной пиццерии в подвальчике, мне было предложено кьянти — да-да, тогда в пиццериях можно было выпить кьянти, — и я выдул подряд два бокала, так как успел вечером вчерашнего дня попить с приятелями.

— Зачем ты так вчера сказать — со-вет-скья сыла? — прочла она по приготовленной бумажке, и фанатичный огонек замерцал в глубине ее широко раскрытых глаз.

Я поперхнулся итальянским вином и уставился на нее. А потом, не в силах сдержаться, расхохотался. Она сказала с болью и тихо:

— Те-бье было смешно? — И ее глаза стали, к моему ужасу, заполняться слезами по самые края, — точно

так медленно и неотвратно наполнилось, я вспомнил, влагою ее лоно, в котором я еще не знал ни одного рифа. — Я лю-блЮ тье-бя, — сказала она печально, опустила веки и стряхнула слезинку из угла глаза. — Ты не понимать...

Она была права — я не совсем понимать. Конечно, полюбила она прежде всего этот изгиб собственной биографии, которую она выстраивала по точнейшим чертежам. Заодно, быть может, была влюблена в меня, допускаю. Но у меня в голове не укладывалось, как может сочетаться в женщине такая холодная дьявольская предусмотрительность во всем, что касается обмана собственного мужа, и такая полнейшая невинность во всем, что касается любовника.

Приемы становились все чаще. На этих вечеринках все прибывало русских друзей — по-видимому, Ульрика заботилась, чтобы мне было легче в этой советской каше затеряться. Я тогда ничего не понимал в виски, запивал бурбон скотчем, нахлобыставшись — ухаживал за дамами, что заставляло Ульрику тихо страдать и посылать мне исподлобья скорбные взгляды, в глубине которых маячил знакомый мне огонек.

Она принялась прибегать ко многим и разнообразным ухищрениям, чтобы сплавить днем горничную, отослать шофера, а самой — в очередной раз пуститься в плаванье в своем матрасе со мною в качестве экипажа. По вечерам я все чаще толкался среди парадно одетых гостей у них в доме — меня приглашали теперь на все вечеринки, которые организовывались то и дело. Случалось, окно между ее постелью и началом очередного приема было столь незначительным, что, соскочив

с матраса, я выкатывался на мороз и околачивался поблизости от Сад-Сэма, предвкушая выпивку и ожидая, когда Отто наконец выйдет встречать гостей к патрульной будке и протянет мне руку с полнейшей благожелательностью.

Регулярны стали и свидания в пиццерии. Мы там сделались завсегдатаями. Случалось, вызовы бывали срочные, тогда Ульрика платила за мое такси. Как правило, срочность обуславливалась приемом накануне. То я скоренько сдружился с рыжей англичанкой, женой летчика с Бритиш Эйр-лайнс — она все чокалась со мной, потом мы пили на брудершафт, потом фотографировались в обнимку, пока муж не схватил ее за руку и не потащил домой; то, осоловев, я хлопнул по задку какую-то блестящую даму, а когда она повернулась — показал пальцем на хозяйского пуделя, — дама оказалась женой первого секретаря какого-то посольства; наконец, как-то я явился на особенно торжественный и пышный прием с девицей из советских евреек-эмигранток, приехавшей в Москву проведать маму и направленную ко мне Осей в приложение к письму из Нью-Йорка; одета она была совершенно сногшибательно: в красный костюм с мини-юбкой, в чулки-паутинки и в красную же широкополую шляпу, короче, со всем брайтон-бичевским шиком, и мужчины-дипломаты за ее спиной заодно перемигивались... Сидя за одним и тем же столиком в углу, Ульрика поджидала меня, уж приготовив словарь, разговорник, блокнот и набор фломастеров. Кьянти тоже меня ждало. При моем появлении официант, как по неслышной команде, тащил горячую пиццу с шампиньонами. Дождавшись,

пока я подкреплюсь, Ульрика с самым серьезным и сосредоточенным видом открывала блокнот. Страницы в нем были уже загодя разрисованы крупными печатными русскими литерами. Рисунки эти изображали вопросы риторического характера, но снабженные вопросительными знаками. Причем каждый пункт был выписан своим цветом. Скажем, красным было начертано: «ты много пить?» Не дожидаясь моей реакции, Ульрика вписывала сама черным: «да», — полагаю, при ее рачительности во всем она таким образом параллельно осваивала русскую грамоту. Далее зеленым: «твой хуй не стоять?» Тут уж я удивлялся: разве? Она не обращала на мои протесты внимания и вписывала черным аккуратно: «будет». В другой раз вопросы могли звучать чуть иначе, скажем, синим: «ты совсем без контроль?»

— Ну, почему же, — вальяжно говорил я, потягивая кьянти, чтобы поддержать игру.

И тут Ульрика отбрасывала фломастер и, жестикулируя, доказывала мне уже устно, что если бы я был с контроль, то с какой бы стати флиртовал с посторонней замужней англичанкой — к тому же рыжей и из гражданской авиации. Помнится, однажды она, прискучив чистописанием, подготовила для меня целую картину — что-то раскрашенное, в манере Кукрыниксов. Подпись красным фломастером гласила: «Николай любить девочки красный свет...» Господи, мне бы столько усидчивости и прилежания!

Я вошел в роль и чувствовал себя законченной блядью. Не знаю, согласятся ли со мною профессионалки, но как дилетант заявляю — отчасти это приятное чувство. Вряд ли я любил ее. Нет, не десять разделяв-

ших нас лет мне мешали. Просто я не мог расслабиться: из-за положения ее мужа, из-за собственного положения. Ведь играть ва-банк — вовсе не то же самое, что махнуть на все рукой. Но она мне нравилась, очень нравилась. Она была чудачкой, она плохо понимала, что творится вокруг. Она была западная дура, причем протестантской выделки. Она была уверена, что упорство и труд — все перетрут, не знаю, какая пословица на ее языке соответствует этой. Но не в России, нет, не в России...

Отто повадился отъезжать в командировки. Впрочем, иногда на два-три дня улетала на родину и она сама, полагаю, в качестве дипкурьера с донесениями мужа — то ли об организации праздничных парадов, то ли о настроениях русских друзей. Во время его отлучек я, случалось, оставался в плаванье на матрасе и на ночь, бывало — проводил в ее доме и по двое суток, коли был выходной или удавалось в будний день отделаться от служанки, шофера и учителя флейты. Я расхаживал по сверкающему паркету в толстых вязаных гольфах и в халате, выкуривал по несколько пачек «Кэмела», в кладовке, где алкоголь всех видов занимал широченные полки от пола до потолка, я выбирал, что приглянется, наладился запивать «Блэк-энд-Вайт» английским жасминовым чаем, на десерт брал какого-нибудь шартреза, но это был не тот шартрез, что мы пили на вечеринках с девками в годы моей юности — по два рубля, но — в богатом каком-то флаконе, цвета нежнейшего, а не ядовитого, и такого же вкуса. Проводя таким образом часы и часы, я впадал, разумеется, в дурман, и облако этого кайфа было и плотнее, и ароматнее, чем после

анаши; мозг туманился, тело принималось вибрировать, и когда я ложился в очередной раз на плавучее наше ложе, ее широко разверстое лоно, тоже подрагивающее и влажное, представлялось мне морским гротом, куда я вплываю, покачиваясь на прекрасной лодке; казалось, это и есть заколдованный вход в тот иной вожделенный мир, и, проникая туда глубже и глубже, я впрямь избавляюсь от наложенных на меня злых колдовских чар...

Разумеется, ей приходилось и встречать, и провожать меня, чтобы провести мимо охранника. Стражам этим она делала бесконечные подарки, но и без того этим служакам и в голову не пришло бы доносить о моих визитах не начальству, как положено, но ее мужу. Из собственных поездок она привозила подарки и мне, причем целыми чемоданами. Незаметно оказалось, что гардероб мой значительно обновлен, что всё, — от трусов и носков до брючек, маечек, рубашечек, — надетое на мне, подарено ею и я как бы упакован в ее обертку, а значит, по элементарным законам магии, — принадлежу ей и сам. Более того, все чаще она прикатывала на такси в мою берлогу на краю Москвы, и там стали появляться какие-то невиданные мною до этого баночки и тюбики, содержавшие средства для мытья и натирки, освежители воздуха, салфеточки, скатерки, цветные свечечки в деревянных подсвечниках, покрывало на кровать, а там и комплекты тоже разноцветного постельного белья, и мое убогое жилище уже не напоминало холостое убежище российского непечатающегося и пьющего литератора, но скорее — гнездышко жиголопедераста. Доставлялись, разумеется, и продукты, хорошая выпивка не переводилась, и случались подчас и

вовсе семейные вечера, когда я отстукивал на машинке какие-нибудь рецензии для внутреннего пользования в одном толстом журнале, а она тут же, нацепив очки, что-то штопала и пришивала — при всей ее шикарности она была, в сущности, очень домашняя и, кажется, хорошая хозяйка. Как уж она устроивалась с Отто — я перестал интересоваться, здесь на нее можно было целиком положиться, но вела она себя смело настолько, что мы стали вместе бывать в ресторанах, пару раз даже — играли на бегах, причем ей везло, а мне — нисколько, потом — у моих друзей, иные из которых стали и ее друзьями и тоже принялись мелькать на ее раутах. Постепенно сложилась натуральная жизнь втроем — с той поправкой лишь, что одна сторона пребывала в неведении или делала вид, что пребывала. Однажды, зайдя к ним на ланч, по приглашению Отто, разумеется, которому не с кем было выпить пива и посмотреть очередную серию про Джеймса Бонда — он любил все брутальное и глуповатое, — я обнаружил на хозяине точно такую же рубашку, как та, что она мне подарила недавно. Потом я поинтересовался у нее, что бы было, если б и я пришел в такой же, — но она ни на секунду не смутилась: рубашка финского производства, я сам мог бы купить ее в магазине. Разумеется, она знала, что Отто в советском магазине отродясь не бывал.

КГБ из моей жизни как ветром сдуло. Она отправляла на Запад мои письма, она привозила мне тюки запретных книжек — двух-трех из них, найденных на обыске, могло бы хватить годика на три лесоповала, так что я, прочитывая их скоренько, распылял, бегая по улицам, как подпольщик, но никто не гнался за мною — каза-

лось, наша связь дает какой-то иммунитет. Менялись сезоны. Подражая им, принялись меняться генеральные секретари. Мы привыкли друг к другу. Увы, дело шло к концу пребывания Отто на его посту, и, устроившись у меня на коленях, Ульрика все чаще повторяла, что советский мир изменится и мы еще встретимся, встретимся. Но оба понимали, что надеяться на это — чистое прекраснотушение и она лишь утешает себя и меня.

Однажды случилось дурацкое приключение. Отто был в очередной отлучке, днем Ульрика была занята, вечером — был занят я, и, похоже, в тот день нам было не увидеться. Я отправился в какую-то компанию западных корреспондентов, где на пари осушил бутылку «Джек Даниэл» ноль-семь и привязался к какой-то девице — оказалось, тоже англичанке, далась им наша Россия. Впрочем, она объяснила, что у них, в Англии, со дня на день будет революция, а она не любит революций, у нас же, в России, революция уже была, — западная наивность, — и она любит Россию. Короче, как и все русисты — она была русисткой, — и эта оказалось челодыкнутой. Я вызвался ее провожать. Разумеется, была она страшненькой, коренастой, в очках, все как полагается. Еще она объяснила, когда мы ловили такси, что любит Россию так, что ей пришлось наняться бэбиситером в семью английских дипломатов. И потому проживает она в Сад-Сэм, знаю ли я, что такое Сад-Сэм?

— О, йес, — успокоил я ее и заявил, что провожу до самого подъезда.

— Но — я не мочь инвайт тебя ту май плейс, — заволновалась англичанка, мигом забыв русский.

И я успокоил ее, что ее плейс меня совершенно не интересует. Такси ввезло нас во двор, и я приветливо помахал охраннику с заднего сидения.

Было за полночь. Подъезд Ульрики вымер. Я был здорово пьян, но долго прислушивался, стоя у нее под дверью. Трогательный зеленый веночек висел под номером квартиры — должно быть, такие же охраняли некогда дома ее предков от вторжения нечистой силы. Все было глухо, я нажал кнопку звонка. Она открыла очень быстро, как будто стояла под дверью и тоже прислушивалась. Какое-то мгновение она чужим взглядом смотрела мне в лицо. Потом молча отступила назад, я переступил порог, она быстро закрыла дверь и долго запирала ее — на замки, на цепочку. И опять повернулась ко мне, глядя сумрачно и странно.

— Почему ты здесь? — спросила она.

И я почувствовал себя нашкодившим мальчиком. Я ответил ей что-то в том смысле, что ЧК выписало мне к ней постоянный пропуск. Она как-то бессильно взглянула на меня, опустила руки и заплакала. Она плакала так, как плачут усталые взрослые женщины. И вдруг я догадался, мигом прозрев, что шутка моя была для нее столь жестока, потому что никогда, никогда за все время нашей любви она не могла быть во мне вполне уверена. Это буквально потрясло меня, я стал сбивчиво молоть что-то про англичанку, твердил: «Нет, Уля, нет, посмотри на меня, разве я... разве я...», — и сам заревел в три ручья.

Когда я получил чашку английского чаю и полфлакона «Джек Даниэл», я чуть успокоился. Она тихо сидела рядом со мной в гостиной, на том диване, где встре-

чала меня впервые наедине, и продолжала тихо плакать. Она смотрела на меня, не отрываясь, сквозь слезы, без улыбки, как смотрят женщины, потеряв и вернув. Иногда она подносила ладонь к моему лицу. Кажется, глаза ее еще были мокры, когда мы поплыли в темноте на нашем матрасе. Лицо мое обдувал балтийский ветер. Я погружался в нее все глубже и глубже. Фиорд был узок в горловине, но постепенно расширялся. Было темно, и берегов было не видно. Под утро я вышел на палубу. Я не впервые плыл по морю, но то были совсем другие моря; пахнул иначе ветер, и новым было небо над головой.

Ближе к восьми утра показались первые огоньки. Я не мог поверить, что это происходит со мной. И не было способа убедиться, что я сам, во плоти, а не одна лишь моя тень, плыву в навсегда запретном для меня мире, и им меня уж не достать. По лицу текло, и капли были почти пресными. Качки не чувствовалось, хоть море не было спокойным. Светало, и все отчетливее проступали контуры чужих берегов. Родных чужих берегов, как мне тогда казалось.

глава XII

КСЕНИЯ

Представьте себе теперь: чистенькая лестница университета города Стокгольм. Мы стоим друг перед другом, от удивления я не могу произнести ни слова. Но

она не кажется удивленной. Она разглядывает меня с долей подозрения: как это он здесь оказался.

— Как ты здесь оказалась? — говорю я.

Действительно, откуда бы ей здесь взяться? Я-то понятно...

Я давно потерял ее из виду, хоть некогда мы часто встречались. У той же Вики, где Ксения кокетничала с иностранцами, впрочем, все дамы для этого туда и приходили. В доме моего приятеля-геофизика — Ксения была его коллегой. Как-то раз я был и у нее дома: пили жасминный чай посреди отменно антикварной обстановки. В московском обществе было принято считать, что Ксения — в далеком родстве с Натали Гончаровой: маленького роста женщина с непропорционально развитой еврейской грудью, всегда оттопыренными губками и зелеными глазами. Впрочем, соображал я, теперь вдруг все начали так бурно перемещаться, не эмигрировать, как прежде, но паломничать... Как будто извиняясь, я объяснил, что только сейчас прочел лекцию о состоянии по-прежнему советско-антисоветской русской текущей прозы десятку русистов, ни один из которых, кажется, не понимал по-русски. Я машинально хлопал себя по карману, куда сунул конверт с двумястами кронами, — суетливый жест, но я впервые получил деньги на Западе и чувствовал, что их украл. Ксения кивнула и извинилась, что опоздала: она видела объявление о лекции, но ее задержали на курсах шведского языка для иностранцев при университете.

— За меня платит муж, — зачем-то добавила она.

Добавление было своевременным: я понятия не имел, что давняя ее мечта сбылась и она вышла-таки замуж за иностранца.

Мы вышли на площадь кампуса, Ксения оказалась при автомобиле. Едва мы залезли внутрь, как я услышал явственный запах алкоголя. Я был уверен, что этот запах исходит от меня: вчерашний вечер я провел в компании моего приятеля-переводчика, в миниатюрной квартирке которого я и гостевал, а также его кузена — режиссера с телевидения. Сначала мы пили пиво в баре Дома журналистов, потом пили текилу в кафе «Оперка», похожем на наш «Националь», но со свежей земляникой в конце марта, которую развозили по залу на тележке, как у нас некогда — фирменные напитки; потом пили у кузена дома, и его сожительница — тоже режиссер, но детский — долго терла шерстяной икрой мою ногу под столом; а потом добавили перед сном дома у приятеля. Он был переводчик, работал на издательство, которое финансировал ЦК КПСС, переводил советских классиков-современников; в Москве его зафрахтовала Ульрика — не могла же она знать, что ЦК КПСС не поощряет переводы на шведский произведений молодых советских диссидирующих литераторов. Но мы с ним подружались, и именно по его приглашению я выехал из страны. Все это я объяснил Ксении, пока она гнала машину в сторону центра города.

— Слышала, что у тебя — высокопоставленный роман, — откликнулась она наконец; я понял, что запах виски исходит от нее.

Она всегда была экстравагантной дамой с романтическим прошлым, но в своей прежней жизни не пила.

Некогда, после окончания географического факультета университета она уехала со своим студенческим мужем на горную метеостанцию в районе Главного Кавказского хребта. Там, на горе, они родили двух сыновей, но, когда пришла пора спуститься в долину — развелись. Я застал ее уже одинокой и самостоятельной женщиной с почти взрослыми детьми, кандидатом наук, водителем последней марки «Жигулей», ярко и дорого одевавшейся, но что ни лето — уезжавшей на Белое море начальницей полевой экспедиции. Короче, в ней были интригующие контрасты. Она притормозила у какого-то кафе, остановила автомобиль и посмотрела на ручные часы. — Эти свиньи дают пиво только после двенадцати, — сказала она и извлекла ключи зажигания.

Было начало второго. Это была немецкая пивная, нам принесли здоровенный жбан пива и какие-то рыбные сухари. Все оказалось кстати, оба жадно и молча выдули по бокалу. Ксения изменилась. Похудела, потемнела лицом, глаза потеряли блеск, а в улыбке не было и доли кокетства. Она стала похожа на немолодую бездетную домашнюю хозяйку из среднего класса зажиточной европейской страны.

Таковой она и являлась, как выяснилось, хоть о себе рассказывала с неохотой. Я узнал лишь, что муж ее — аптекарь, причем не здесь, но в каком-то маленьком городке.

— Там, на юге, — сказала Ксения, махнув рукой куда-то в сторону Дании.

Еще через бокал оказалось, что он — тоже эмигрант, еврей из Венгрии. В ней было немного энтузиазма, если не считать скорость, с какой она потребляла

пиво. Это и понятно, последний ее известный мне роман был с первым советником посольства, кажется Нидерландов.

— Ты где остановился? — спросила она, хоть это я ей только что успел сообщить. — Ах, да. Но ты не занят сегодня?

— Я был свободен.

— Давай возьмем номер в отеле, — сказала она совершенно ни с того ни с сего — даже облачка флирта не проплыло между нами. — Деньги у меня есть, — поспешно добавила она, — муж дает мне деньги. И вообще...

У меня тоже были деньги. Из Союза я выехал с семьей сто долларовыми бумажками, которые мне разменяли в советском банке по смехотворному, искусственно заниженному курсу — что-то около восьмидесяти копеек за доллар. Да и гонорар за лекцию...

— Конечно, — сказал я, — почему бы не взять. — Я никогда еще не жил в заграничном отеле.

Она чуть оживилась.

— Знаешь, — сказала, — не хочу сегодня возвращаться туда.

И я не спросил — куда? Мы вышли из бара — за пиво заплатил я — и сели в машину. Она, обогнув центр по хайвею, зарулила к стокгольмскому шератону.

— Только на одну ночь, — пояснила она мне, паркуясь на платной стоянке, — я всегда мечтала провести ночь в шератоне.

Она подошла к стойке администратора и уладила всё в две секунды. Номер наш оказался на девятнадца-

том этаже. Происходило что-то неладное, но я никак не мог понять — что именно.

— Держи ключи от машины, — сказала Ксения. Должно быть, так она командовала некогда членами своей геофизической экспедиции. — Возьми мою сумку с заднего сидения. Номер найдешь.

Я вышел на улицу — и меня еще раз обдало сладким неродным воздухом Запада, — в холле отеля пахло лишь дезодорантом. Я еще не привык к особой ясности воздуха, к балтийскому свету, к опрятности улиц, домов и толпы. А главное, к тому, что я — здесь. Всему приходилось учиться заново: менять иностранные деньги, каких я никогда не держал в руках, пользоваться телефоном-автоматом и даже переходить улицы. В порядке дополнительного урока самообразования я решил разведать, где здесь можно купить выпивку. Миловидная шведка указала мне за угол. Я выбрал здоровенную бутылку скотча, правда, недорогого. И вернулся в отель.

Дверь номера была заперта. Я постучал.

— Это ты? — донеслось из глубины. Я подтвердил. Дверь отворилась, она стояла босиком на ковре, вид у нее был испуганный. Я отдал ей сумку и водрузил виски на стол.

— Отлично, что ты сам догадался, — сказала она.

Мы выпили. Ее рука со стаканом слегка дрожала. В номере стояла лишь кровать большого формата — королева, как я узнал потом, — причем посередине, две тумбочки, бар, столик, два кресла. Скромно и очень чисто. Я подошел к окну. Отсюда отлично были видны скалы и воды фиорда, которые и принесли меня сюда. Даже темный столбик маяка.

Было около четырех.

— Спустимся в бар, — предложила она. По-видимому, в номере ей стало неуютно. На первом этаже мы устроились в баре, отделенном от холла стеклянной стеной. Нам принесли кофе. На вопрос, что мы будем пить, я заказал текилу. И объяснил Ксении, что научился пить текилу только вчера вечером и хочу повторить урок.

Я начал говорить. С кем, как не с ней, первой соотечественницей, встреченной мною за десять дней на чужой земле, я мог говорить об этом. Шведы все как один интересовались перестройкой, пили за Горбачева, спрашивали — остались ли запретные с точки зрения цензуры темы в СССР. Я успокаивал их, что остались. Перечислял. Кое-кто из них записывал. Но говорить мне хотелось только об этом вот чуде переселения из мира в мир, хоть я не мог найти подходящих слов. Я вспомнил о том, как в ночном Бресте был уверен до последнего, что меня снимут с поезда. Стояли мы там больше двух часов, и ожидание было невыносимым. Казалось, решается моя участь, я не мог поверить, что граница расступится. Все оказалось буднично, и поезд пошел дальше — куда-то в ночь. Проснулся я рано утром, поезд стоял на перроне вокзала в Варшаве. Она казалась точно такой, как в моем давнишнем сне, — тоскливо серая. Как мы пересекли границу ГДР — не помню, пил водку с попутчиками. Наконец, экспресс «Восток—Запад» причалил к вокзалу в Берлине. Я выучил назубок все инструкции бывалых людей; я нашел электричку, которая отвезла меня на Александер-плац; я показал свои документы гэдээровским по-

граничникам, тревожно улыбаясь. Они вертели паспорт в руках, листали, переговаривались на незнакомом мне языке. Я сообразил, что они не хотят пропускать меня, и не поверил, когда они протянули мне мой аусвайс, а один сказал по-русски: — «Иди». Уже стемнело. Бессознательно, как будто каждое утро я делал эту пересадку, я сел точно в ту электричку, что повезла меня на вокзал «Цоо» Западного Берлина. Я даже не отдавал себе отчета, что я на Западе, а все смотрел, как какой-то тип в обмотанном вокруг шеи шарфе и мятом пальто с настырностью пьяного человека заставлял свою собаку держать на носу монету; монета падала, звенела на полу, далеко откатывалась. Тип ругался, вынимал из кармана другую. «Что это была за монета, — думал я, — пфенниг, должно быть?» Так же автоматически я взял свой чемодан и вышел из поезда вслед за типом и его собакой. Я шел по перрону с той небрежностью и неспешностью, что маскируют восторг и смятение. Кажется, это было чувство победы, и ради одной лишь остроты этого чувства стоило жить. Западный Берлин радужно сиял в темноте — ровно так, как сияла моя о нем многолетняя мечта. Он сиял ровно наоборот тому, как жидко светятся советские города по вечерам. На при вокзальной площади я нашел все, что знал о Западе: порновидеотеку, иномарки, зазывные светящиеся рекламы, уходящие в небо. О Германии я знал еще, что здесь отменные сосиски запивают отменным пивом. Я был страшно голоден. Я хотел сигарет «Кэмел». Я хотел шнапса. Победу свою я должен был отметить сейчас же.

Чтобы не пропустить в случае чего поезд на Киль, который отходил через два часа, я решил устроить праздник в вокзальном ресторане. Странно, но я догадался спросить у метрдотеля, берут ли в ресторане доллары. Он посмотрел на меня диковато, когда в ответ на отказ я попросил его их все-таки взять. Я думал, что если это — Запад, то национальная принадлежность западной валюты не должна иметь никакого значения. Он объяснил мне, как найти иксчейндж оффис. Но тот был закрыт: он работал до девяти, сейчас было десять. Я был обижен невероятно. Вот оно пиво, вот они сосиски, вот они доллары — в кармане, но я бессилён обратиться одно в другое, как будто нахожусь в Советском Союзе. Может быть, это была первая трещина в моем низкопоклонстве перед Западом.

Однако я запомнил курс, вывешенный в витрине оффиса: 1,72. Чтобы не пропустить свой поезд, я отправился на перрон. Меня волновала непонятная цифра в моем билете — 235, обозначающая номер вагона. У нас таких длинных поездов не бывает, твердо знал я. На перроне толклись студенты, хиппи, рабочие южного происхождения, похожие на жителей Северного Кавказа. Наверное, турки, догадался я. Посередине стоял ларек — абсолютно похожий на перронные ларьки Казанского вокзала. В нем торговал какой-то араб — сириец или ливанец. Или палестинец. Там было пиво, там были сосиски, там был «Кэмел». Там был и шнапс, правда, в крохотных бутылочках по пятьдесят граммов — на один глоток. Я встал в очередь оживленных американских студенток в канадских куртках, нарочито рваных джинсах и кроссовках. Когда я оказался перед окошком, я

протянул арабу стодолларовую бумажку. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего.

— Чейндж, — сказал я, зная, что все жители Востока склонны к мелкому бизнесу, — ай вонт уан хандред фифти маркс онли.

Он знал текущий курс. Он быстро сообразил, что чистый его навар составит двадцать две марки. Он быстро повел глазами по лицам в очереди, картинно пожимая плечами и разводя руки: мол, я здесь не причем, если этот болван разбрасывается деньгами. Короче, он согласился. Он выдал мне четыре банки пива, четыре сосиски и пригоршню бутылочек шнапса. И пачку «Кэмел», конечно, причем я потребовал длинную, потому что никогда такой упаковки не видел. И много сдачи в марках. Я устроился тут же, я уплетал сосиски, я запивал их пивом, — ни то ни другое не показалось мне особенно вкусным. Потом я спросил у кого-то, как мне найти поезд на Киль. И был изумлен, что такого поезда нет. Недоразумение скоро выяснилось, был вагон на Киль, и этого оказалось за глаза достаточно. Наконец я разыскал его. У меня был третий класс. В купе места не нашлось, я уселся в проходе на свой чемодан и скрутил первую голову малышке-шнапсу. Когда поезд тронулся, я чувствовал, что жил на Западе всегда. Я ловко поменял деньги, приобрел жратву и выпивку, я нашел всеходы и выходы, я даже оказался в нужном вагоне в нужное время, — здесь было чем гордиться. Да-да, я на родине, на своей настоящей и окончательной родине...

Я откупоривал шнапс, я запивал его пивом. Я закурил «Кэмел». Я вспоминал свои студенческие времена: вот так же и мы путешествовали когда-то в

общих вагонах, в тесноте, в гвалте и хохоте. Поезд тормозил. Потом остановился. В вагоне оказались советские пограничники с автоматами Калашникова и в серых ушанках. Они закричали шнелль и чуть не пинками погнажи всех из тамбура, заставляя забиться в вагон. Темный ужас поглотил меня: ведь не могла же это быть белая горячка. Несколько мгновений, объяснивших мне, что моя душа навсегда отравлена страхом, понадобилось понять, что мы снова на территории ГДР...

Ксения слушала меня, не перебивая, только поддакивая. Текилу мы повторили. За роялем оказалась девушка, запевшая по-французски, и я припомнил, что где-то здесь видел объявление о выступлении артистки из Квебека. На рояле стоял бокал, наполовину полный белого вина. Какая-то вспышка померещилась мне за спиной, отблеск на стекле, а Ксения схватила меня за руку. Мы обернулись: двое мужчин, быстро удаляясь, пересекали холл.

— Боже, — сказала Ксения, — они фотографировали нас!

Тут и мне стало не по себе. Мы допили и быстрым шагом устремились к лифтам. Мы всё озирались. Абсолютно пуст был глухой коридор, пол которого был покрыт толстым паласом. В искусственном свете поблескивали лишь бесконечные медные ручки дверей. Из-за одной из них донесся женский смех: джаст э момент, Джонни, джаст э момент! Потом опять все стихло. Мы добежали до своего номера, заперлись в нем и перевели дух.

— Мне страшно, — сказала Ксения, — ты не уйдешь?

Я вспомнил, что должен позвонить приятелю — предупредить, что не потерялся, что буду завтра. Он был очень оживлен.

— Кстати, — сказал он, — чуть не забыл, для тебя был мессидж, звонили из советского консульства, просили зайти отметить.

«Вот уж хер им, — подумал я, — чтобы я теперь сам к ним пошел».

Ксения сидела на постели, привалившись спиной к подушкам, и пила виски.

— Что с тобой? — спросил я.

— Ничего, — помотала она головой.

— Чего ты боишься?

— Всего.

Я налил виски и себе. Мне было очень неуютно. Я разглядывал ее лицо. Со щек сошла пудра. Веки были набухшие и красные. И запеклись губы. Сколько ей лет, подумал я и быстро прикинул: ей было около пятидесяти, пусть и на солнечной стороне. На черта ей было выходить за этого аптекаря, чтобы изучать чужой язык на старости лет? Словно прочитав мои мысли, она произнесла скучным голосом, без интонации: «Здесь я живу в студенческом общежитии». Потом расстегнула кофточку и вытащила из бюстгалтера солидную пачку денег, завернутую в целлофан и перехваченную бежевой резинкой. И, вздохнув, положила их на тумбочку.

Таким жестом деловые мужчины распускают галстук, когда тяжелый день закончился.

— Надо помогать детям, — пояснила она. — И жить. Я только утром из Норвегии. Ведь мой муж там...

По-видимому, она занималась контрабандой по мелочи. Впрочем, она и в Москве, сколько я понимаю, подфарцовывала. Все, кто бывал у Вики, и все, кто не бывал, и мой друг-геофизик — все фарцевали по маленькой. Даже жена Б.Г., ставшего теперь крупным философом на Западе. Да и я сам, продавая запретные книжки, что привозили мне с Запада, — фарцевал, и это при полной неспособности к бизнесу. И все тоже было связано с контрабандой, с нелегальным ввозом в страну партий подержанных джинсов или собраний сочинений отца Павла Флоренского.

Мы выпили еще.

— Ты думаешь... — хотел спросить я, но остановился. До этой минуты я был в полной уверенности, что это агенты КГБ меня фотографировали через стеклянную стену в баре.

— Старший учится китайскому языку, — сказала Ксения. — А младший поступил на экономический. — Она протянула бокал, чтобы я плеснул ей еще. Кофточку она так и не застегнула: не из кокетства — от усталости. Кожа между ключицами у нее была совсем вялой. К тому ж от выпивки, наверное, шея пошла красными пятнами. — Хотя квартира теперь у них есть... Освободила... Сядь ближе...

Я пересел к ней на кровать, она привалилась к моему плечу. Она дрожала. И это была дрожь страха. Я обнял ее и, кажется, стал дрожать сам. Странно, здесь, где, казалось бы, так далеко было все, чего мы боялись на родине, нам обоим было еще страшнее. И невероятно одиноко. Одиноко до того, что я с трудом подавил желание позвонить в Москву — хоть маме.

Страшен и зловеще пуст был гостиничный коридор. Страшны отблески на стеклянной стене. Пуст номер и неуютна огромная, ненужно огромная неразобранная постель.

Я потянулся за виски, пытаюсь высвободиться из-под нее, но она лежала на моем плече кулем, неловко согнувшись, носом уткнувшись мне в шею. Я осторожно перевалил ее тело, и она упала лицом в подушку, даже не вздохнув. Она тяжело спала, беззащитно скрючив босые ноги, как спит разбитый усталостью, накопленной всей жизнью, старый человек перед смертью. Я загнул угол одеяла и прикрыл ее.

Поколебавшись, я решил, что утром ей пить виски вредно, закрутил крышку и сунул флакон в карман плаща. Погасив свет, я вышел в коридор. Мне хотелось бежать, но я сдержал шаг. Лишь когда я оказался на улице, я испытал некоторое облегчение. Мне бы только найти сейчас дом приятеля и не глупить. Больше всего на свете я желал бы оказаться сейчас на Тверской. Я сделал глоток из горлышка и остановил такси.

Через два дня прямо из Стокгольма я улетал в Америку, где мне удалось получить многомесячный грант в Институте русских исследований, — не без помощи Анны, конечно. А через несколько лет стороной я узнал, что у Ксении все в порядке — она приезжала в Москву в качестве переводчицы и референта одного шведского импресарио, задумавшего совместный с Россией проект. Что касается отблеска блица на стеклянной стене, полагаю — нам обоим это только почудилось.

глава XIII

ПОТЕМКИ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ИХТИОЛОГИИ

Мы не виделись больше десяти лет, теперь сидели в пабе на Квинс-бульваре, хоть некогда прощались навсегда. Я не находил в нем заметных перемен — виски поседели, но брюшко подобралось, — и болтал он по-прежнему много и о том же: о типе эмигранта по Кречмеру, о метафизической вине американцев, предки которых предали любимую девушку и оставили старушку-мать ради призрака успеха в Новом Свете. Смуглый полуврей с простецкой южнорусской фамилией, темными густыми усами, он походил на турка, может быть, поэтому ему льстило, когда в Америке его принимали за немца, шваба или баварца. Разговор, переползая туда-сюда, уткнулся в общих знакомых, — оказалось — о ком ни заговори, в Москве и Коктебеле, в Париже и Лос-Анджелесе почти все живы и занимаются тем же: потребляют алкоголь и курят травку, спариваются с юношами, живут на содержании женщин, пишут какую-то прозу или какие-нибудь картины, выступают по эмигрантскому радио, меняют любовниц и жен, играют на фортепьяно, уходят прочь — за цыганским табором. Обоюдное недоумение, взаимная неудовлетворенность от нарушения привычного двойного курса времени: нашего, меланхолического и противящегося распаду, даже скорым переменам, и чужого, необратимого и опустошающего. Договаривая до конца: каждый в глубине души был слегка уязвлен тем, что другой — жив и, по-видимому, неплохо себя чувствует, ибо согласитесь:

встреча с приятелем через много лет в противоположном мире – вещь, несколько выбивающая из колеи.

Чтобы отряхнуться от неловкости, мы налегали на гиннес. И еще через пару кружек нас отнесло в крымскую весну чуть не двадцатилетней давности, когда мы познакомились. Он вспомнил Диму, он вспомнил Галю, удивился, что я запомнил имя его квартирной хозяйки, ведавшей душевыми в Доме творчества, что было немаловажно ввиду хронического отсутствия воды и трудностей с помылками, и имя ее мужа-шофера; я, в свою очередь, подивился его памяти на столь далекие от Квинса мелочи; между прочим, он спросил о моей жене, с которой я расстался едва ли не тогда же и с которой сохранил вполне ностальгические отношения. Неожиданность: при ее имени мне представилась не колесница, запряженная грифами, среди вечно зеленой растительности, и не обесцвеченная временем сорокалетняя женщина на кухне кооперативной квартиры недалеко от метро, готовящая по утрам яичницу из трех яиц вернувшемуся из армии сыну, — но — на удивление явственно — пестрая шерстка в желобке на девичьей шее там, где кончается стрижка белесых, выгоревших на солнце волос. Так, на поверку все становится на свои места: другие не изволят даже порядочно постареть, тебе же в телефонном голосе никогда больше не узнать девочку, покушавшуюся стать живописицей, чей ломкий смех, когда ты целовал ее в вырез майки между лопатками, напоминал хруст обдираемой с шоколада фольги.

Прихлебывая, он заметил, что всегда удивлялся моему разводу, неужели не могла потерпеть, закрыть

глаза, и я решил, что, по-видимому, она и ему нравилась: молодая попка, миловидная веснушчатая мордашка — обманчиво безгрешная, свежий запах юных подмышек и невыветривавшийся — перебродившей в ней спермы, которой в ту весну я исправно заправлял ее с утра до вечера и с вечера до утра. Конечно, нравилась, и сейчас вспоминает с сожалением, и я заметил, что он собирался везти меня в «Самовар».

В такси — тариф еще дневной, но трафик уже слабый — приятель спел о русских корнях немецкого фашизма и, оседлав одного из любимых коньков, сыпал прибалтийскими именами — Винберг, Шебнер-Рихтер, я же во второй раз убедился в странных свойствах нью-йоркской оптики, будто сам здешний воздух создавал эффект сверхприближения очень дальних предметов. Мне увиделся высвеченный сегмент побережья, черные кособокие фигуры скал над одичалым садом на склоне, садом то ли персика, то ли миндаля, дикие груши с почками, которые выходили на ее картонах похожими на красные рождественские свечи, толстые стеариновые побеги молочая; мне мерещилась желтизна в пустых ветвях зацветающего кизила, камни и прах базилики у высохшего татарского источника; отсюда, из крошечных ирландских кварталов, сквозь которые мы стремились к Ист-Ривер, поселок внизу казался окутанным синим воздухом, угольный дым лишь растекался, не желая таять, в прорехах были видны красные штрихи, вертикальные — кирпичных труб, горизонтальные — черепичных коньков крыш, трепещущий — какой-нибудь сушащейся на веревке тряпицы с каймой; перед слишком большим по ее росту этюдником она, прищурив-

шись, сжимает кулачки: в левом — перепачканный масляной краской лоскут, в правом — неумелая кисточка, последние мазки, подожди, не сейчас, не надо, и ломкий шоколадный смех, и влажные с исподу прохладные ляжки, и очень горячее лоно, неожиданно глубокое и полноводное в такой хрупкой девчужке. Приятель выводил, как по скифским степям мимо руин советских городов обнаженные арийские юноши и девушки скачут верхом на индийских слонах, но на манхэттенском мосту мы все-таки застряли в пробке. Тут же я прослушал составленную не без изящества пятнадцатиминутную лекцию о еврейско-американском эсхатологизме и самозабвенном предчувствии грядущих катастроф, а также о ментальном русском химическом апокалипсисе. Да, он был все таким, циником и болтуном, человеком воздуха, шармером с чересчур высоким для его массивной фигуры голосом, особенно в подпитии, — фальцетом он говорил как раз тогда, когда хотел перейти на баритон, — ловцом душ и алчным коллекционером чужих слабостей и неудач.

Я впервые увидел его в гостиной одного коктейбельского дома, где в центре стола он травил светские байки, прибавляя «как говаривал Штирлиц, чтоб мне сдохнуть» и то и дело заносил ногу над ямками чересчур откровенных непристойностей — к восторгу хозяйки, крашенной хной дамы под семьдесят, бывшей филармонической певицы, пожаловавшейся нам с женой, едва нас ей представили, что здешняя ее подруга, из княгинь, невероятная сплетница, рассказывает знакомым, что она, хозяйка, живет половой жизнью со своей собакой: «Зачем она так говорит, вовсе я с ним не живу».

Между тем пес, беспородный до какой-то даже породистости, желто-белый и с перебитой задней лапой, которую прижимал к животу, голодно, но робко заглядывал в гостиную из-за края пианино, и тогда певица кричала: «П-п-ш-ш-шел вон!»

Уже через день после знакомства Ося — тогда еще Ося, еще не Джозеф, — был с нами накоротке. Продемонстрировал, как за столом я жадно смотрю на других женщин, не выпуская, однако, жену из объятий, то и дело целуя в темя с хищностью пса, выкусывающего блох. Это было смешно, и мы расхохотались, хоть кто-то мог выставить за такое в дверь. Впрочем, актерство было его истинным, то есть бескорыстным, только эгоцентрическим, а своих персонажей — они же, как правило, составляли и публику — он по-своему ценил, как неперемное условие явления своего искусства, отчего — позже я много раз наблюдал это — кое-кто приходил, разобравшись, в чем дело, в неистовство, принимаясь ненавидеть его последней, бессильной и душной ненавистью, — он был бессомненно обаятелен, но совершенно не приспособляем ни для каких внеэстетических отношений, ни к любви и нежной дружбе, ни к теплому практическому использованию. Подозреваю, эта беспримесная и беспощадная чистота его жанра, всегда рано или поздно оборачивающегося предательством, и была причиной его эмиграции, попытки найти в мире место, где голый артистизм не есть лишь ложка, которой можно испортить бочку меда этики и гражданской порядочности, но, увы, похоже, он промахнулся, и нет таких мест на земле. Тогда, в Крыму, он принялся забежать к нам что ни день, — наша комнатка, точней наша

кровать на втором этаже миниатюрной и узкой башенки, воздвигнутой жадной хозяйкой для постояльцев в узком дворе беленой хаты, всегда оказывалась в орбите его неостановимого порханья, когда он переносил из дома в дом ядовитую пыльцу веселой и циничной наблюдательности, — вот только единственно — он безжалостно втягивал нас в подспудную жизнь безлюдного на глаз весеннего поселка, а ведь нам так хронически не хватало друг друга, хоть мы не расставались ни на минуту, то и дело стекаясь, как капли, и некому нам было сказать, что соитие — лишь безнадежная метафора невозможности полного соединения...

Наконец мы попали в нужный экзит, такси шло по седьмой авеню вниз, а по пятьдесят шестой стрит мы свернули налево. Поскольку к концу поездки мой спутник неожиданно приумолк, расплатился я. Мы вылезли из желтой негритянской машины, я окликнул:

— Ося, ведь я впервые в Нью-Йорке, где же она, статуя Свободы?

— А вот она! — живо отвечал он.

Я обернулся: улицу переходила жирная негритянка, шаркая плоскими подошвами, вся в чем-то пальмовом, с большой черной лакированной сумкой. Мы вступили в ресторанцию.

Плащи у нас приняла невероятно худая девочка с блестящим взором — джинсы висели на ней, как прищепленные. Я подмигнул ей, она быстро прошептала: «Не верьте, я вернусь, я здесь останусь не больше месяца». К нам подошел хозяин в хорошем твиде — скорее всего, Дэвид Хантер, — они с Осей расцеловались. Мы уселись за столик между баром и роялем. «Есть ни-

чего не будем», — объявил мой приятель, но я выторговал-таки кое-чего из закуски и тарелку горячего борща. «Абсолют» был у Оси с собой. Подавали официантки-ирландки, и я спросил хозяина, который принял у нас заказ лично, отчего в «Самоваре» — не русское обслуживание? Он с готовностью пояснил, что русские девушки много пьют на работе, отдаются клиентам прямо на кухне и нещадно обсчитывают, причем особенно отличалась одна советская кинозвезда, принятая на работу по высокой протекции. Пришлось менять персонал, обворожительно улыбнулся хозяин и откланялся, устремившись к другим гостям. Мы выпили по рюмке шведской водки, на ирландское пиво она ложилась тягеловато.

— Кто эта девочка — у входа? — поинтересовался я.

— Ваша, — сказал Ося, аппетитно жуя ветчину, — и совершенно безотказна!

После какого срока наши превращаются в своих в этом Вавилоне? Будто почувствовав, что речь идет о ней, девочка посмотрела на нас. Перехватив мой взгляд, она покачала головой — что-то отчаянное мелькнуло в ее очах: не верьте, я вернусь...

Появился тапер. Первым делом он водрузил на рояль букет сирени, потом уселся, отбросил с лица длинные прямые волосы и занес руки. Все показалось мне однажды виденным. Сейчас он ударит по клавишам, зазвучит дурной Скрябин, а полураспустившиеся гроздья примутся дрожать и раскачиваться. Но раздался исхурдалый Шопен, это, впрочем, не имело значения. Мне виден был лишь затылок играющего, худые ноги под

стулом, длинные ступни, нервно жмущие то на газ, то на сцепление; он ожесточенно работал локтями, точно месил глину, я вспомнил, что на рояле рядом с цветами лежал оранжевый абажур, и бахрома его тоже свисала и дрожала. Вплотную к инструменту была приткнута этажерка, напиханная нотами, и этажерка раскачивалась. Хозяйка дома сидела на диване и штопала ковер, держа очки на лбу, а пес-инвалид был у ее ног, вздрагивая Шопену в такт. Ося налил еще, потом еще, я ничуть не удивился, что неподалеку за столиком бара, не покрытым скатертью, возникла дама подходящего возраста с рыжим цветом волос и очками на лбу. Перед ней стоял одинокий бокал белого вина, она раскладывала пасьянс.

— А это наша певица, — сказал мой приятель, широко поведя рукою, — прошу любить и жаловать.

Певица улыбнулась и спросила зычно через разделявший нас проход: не погадать ли? Все шло нормально: перелет из Европы вслед за солнцем, выпитый в самолете виски, приземление к бару в аэропорту Ньюфаундленда, снова взлет и посадка в ирландском пабе, тут еще нежданный разговор о том, о чем я почти забыл, — все вкупе с третьей бутылки «Абсолюта» облегчало галлюцинирование. Кроме того, исключая ирландскую прислугу, все было так знакомо, так уютно: и стайка еврейских девушек у стойки, так восхитительно помосковски жеманно независимых, и известный московский театральный актер за соседним столиком — пьяный ровно так же, как если б дело происходило в ВТО; и пестрые надписи на стенах, как в пестрой буфетной ЦДЛ, и компания не то рэкетиров, не то техников авто-

сервиса будто только что шагнула из ресторана Дома кино прямо в джунгли Большого Яблока. Да, тогда цвела сирень, и ночью с нашей постели был слышен бесперебойный клекот и скрежет разнообразных лягушек из лужи прямо под башенкой. Одни кричали взмывающими и обрывающимися трелями, другие ухали, третьи взвизгивали, как некормленные детеныши, и мы активно участвовали в этом празднике обновления жизни, без усталости комкая уже влажные простыни... Ося говорил, подливая, хоть лицо его покраснело и отвисли брылы: о русском космизме и откровениях «Розы мира», о европейском дендизме как утонченной форме русского юродства, — я принял как должное, когда подметил в зале женщину в бородавках, похожую на желе из жаб, двойника крымской поэтессы для детей и юношества и лесбиянки, лишь ждал, когда она выпустит салеменный холодный дым и скажет, не мигая: есть Карловы Вары, а есть варвары Карлы, — я отнесся бы с пониманием, варвары Карлы, по-видимому, и отвратили ее от радостей разнополой любви. Тут пианист должен был запнуться, хозяйка смешать пасьянс и приложить палец к губам, одновременно вскинув голову так, что очки упали на нос, затем опустить глаза, сделать вид, что заметила трехногого пса внизу только что, и закричать: п-п-п-шшел вон! За нашим столиком оказалось еще несколько человек. Бутылка «Абсолюта» опять была полна.

Ося представил: московского фарцовщика, которого КГБ упрятал за решетку за сбитую им старушку, ныне корреспондента русскоязычной нью-йоркской газеты — и с безупречным английским; миссис и мистера Кабач-

ников, она — цыганка, его род занятий выяснился позже, что-то вроде получения страховок за якобы украденную в домах приятелей мебель, оба из Одессы, ныне проживают в далеком Бруклине; наконец, — тут рука моя повисла в воздухе, ибо имя, которое произнес господин, было столь же несусветно, как и он сам, — Гидемин Козлов.

Говорили про Гетца. Посмеивались над слабостями эмигрантского еврейско-русского комьюнити. Гетц — американский еврей из Бруклина, тихий бухгалтер двадцати восьми лет — недавно пристрелил в нижнем Манхэттене негритянского юношу. Гетц направлялся к сабвею, когда к нему подошли трое черных подростков и приставили к боку нож. Вместо того чтобы вытащить бумажник и отдать двадцать долларов, бухгалтер извлек револьвер, уложил наповал одного, второго ранил, третьему удалось уйти. И вся эта история заставила аплодировать советских эмигрантов, расизм которых прочнее и физиологичнее, чем у самого магистра ку-клукс-клана.

— Гетц стал четвертым богатырем, — повествовал Ося, разливая, — четвертым богатырем здешней русско-еврейской мифологии.

Я не отводил глаз от Гидемина — тот посмеивался в реденькие рыженькие усы. Бог мой, ему, должно быть, сейчас за восемьдесят, но выглядел он точно, как тогда; меня он, конечно, узнать не мог — из юного кудряво-ревнивого мужа симпатичной писюшки я превратился в сорокалетнего господина, седоватого и с залысинами. Его дача, откупленная у знаменитого авиаконструктора, профессионального долгожителя и женолю-

ба, была полна привидений; она стояла на скале, над морем, а привидения обитали преимущественно в саду; Гидемин утверждал, что все они — сплошь голенькие девочки, и прехорошенькие, и приглашал всех желающих женского пола и не старше двадцати двух убедиться в этом, для чего достаточно было остаться на даче на ночь. Вглядываясь в него теперь, я был поражен не столько тем, что он вовсе не изменился, но — отсутствием тика, который в былые годы терзал его левое нижнее веко. Тик бесследно исчез.

— Правда, похож? — толкнул меня в бок Ося, перехватив мой взгляд. И зашелся в смехе, брылы его подрагивали, как сирень на рояле.

Я стушевался: что значит похож, когда это он, Гидемин? Выпьем же, господа!

Я проглотил еще рюмку. Я узнавал теперь даже кисти его рук в кремовых пигментных пятнах. Еще бы, ведь он был мною застигнут как-то на берегу лягушачьей лужи, которую старательно писала маслом моя маленькая глупышка-жена. Он стоял у ней над плечом и внимательно вглядывался в картон, а когда я окликнул ее, высунувшись по пояс из окошка нашей башенки и сидя на карачках на нашей постели, она обернулась, но не испугалась. Гидемин взял в свою пигментную лапу ее невинный кулачок с зажатой в нем кисточкой, а потом обернулся ко мне, дергая глазом: «Поздравляю вас, юноша, у вашей подруги железный характер, так что берегитесь...»

— Нет, ты расскажи, расскажи, Гидемин, — кричал Ося. И, не давая тому и слова вставить, принялся рассказывать сам. Я знал об этом случае: Гидемин на заре

вбежал к художнику, жившему по соседству, с криком: «Вставай, Людка повесилась». Людкой звали очередную пассию Гидемина — откуда-то из Луганска. Художник, как был в трусах, вскочил с постели. На крыльце их встретила Людка — совершенно голая. Она подарила художнику цветок со словами: «Извиняйте — первое апреля!»

Кабачники хохотали. Подрагивал от беззвучного смеха фарцовщик, жестко глядя при этом из-за золотых очков. Веселился и гулял Ося; я вспомнил даже, что история была рассказана в том же доме за вечерней выпивкой и как хозяйка повторяла: «Не правда ли, этот Гидемин — прелестное чудовище?» А на мой вопрос — кто он? — нетерпеливо ответила: «Ах, отстаньте, этого ни-кто не знает, может быть, детский композитор, а впрочем — скорее, командир субмарины в отставке»... Мсье Кабачник докладывал компании, что терпеть не может советских. Эдакий Чаадаев: советские очень пахнут, когда с ними встречаешься в Нью-Йорке. Жена Кабачника подтвердила, что советские бросают в унитаз окурки. А одна из подруг, представьте, в магазине пробовала спичкой — вискоза ли, не доверяя тайваньскому лейблу. Ося подмигивал мне, фарцовщик ухмылялся и пил.

— Попробуй, — сказал Ося и сунул мне в ладонь какой-то предмет. Это оказался монокль. Я попытался вставить его в правый глаз, но сколько ни тужился, не мог его как следует зажать — монокль выскакивал, мы с Осей его ловили на лету. Кабачник очень смеялся, а его цыганская жена приглядывалась ко мне все внимательней.

— Что туна?! — раздался громкий крик, — что, спрашиваю, туна?! Это же греческий фрахт!

Я взглянул туда, откуда доносился этот мощный голос с сильным еврейским акцентом. В человеке, говорившем по телефону у бара, я узнал скульптора Мишу Бляхова, погибшего на скалах Карадага той весной.

— Миша Бляхов, — произнесло желе за соседним столиком, — гений взмахов.

Бляхов ходил по поселку с рюкзаком, в котором была очередная компактная модель махолета. Его длинные седые волосы развевал ветер с моря. И с гор. Попытки летать он предпринимал ежедневно, без скидок на погоду и направление ветра. Он разбился ненастным днем, каких в ту весну было немного. Я видел его останки, прикрытые простыней, когда их собрали и принесли вниз, в поселок. Судя по форме, это был рубленый бифштекс, и простыня была пропитана кровью.

— Сначала он скучал, — говорил Ося, — потом, зачастил в ихтиологический музей. А теперь вот — в рыбном бизнесе.

— Но все-таки он взлетел, — сказала детская поэтесса.

— Невемо, невемо! — кричал бывший скульптор в телефонную трубку с катастрофическим акцентом, — с креветками я больше дела иметь не желаю!

Фарцовщик — не успел я моргнуть — держал хозяина за твидовые фалды и делал вид, что ебет в жопу. Хозяин розовел, вырывался, кажется — он был обижен.

— Хайль Гитлер, господа! — орал Ося, вскидывая руку в приветствии. Монокль ловко был зажат в его гла-

зу, а на голове — зеленая с красным шапочка, изображающая крокодила с разинутой пастью: детская хохма.

Я мельком припомнил, что там такое он говорил мне об эмигрантской трещине характера и о неизбежности вины перед оставшимися. Певица закутала зябкие плечи в цветастую шаль, склонилась к таперу, тот кивнул, откинул волосы, а певица запела голосом коктейбельской нашей хозяйки, тягуче, по-крестьянски:

Ах, папаша, ты, папаша,
Неродной ты мне отец,
Зачем пошил ты бело платье,
Посылаешь под венец...

Тапер аккомпанировал, сирень раскачивалась, я заметил, что гардеробная девушка подает мне знаки. Я понял, что она немо молит меня молчать. Я вернусь. Такой же букет сирени, может быть, чуть попышнее, был приготовлен у изголовья на случай писания натюрморта. Я был внутри нее, приладившись сзади, жена лежала на правом боку, заложив под щеку правую руку, левой сжимала мое бедро под простыней. Я старался расшевелить ее, полусонную, и с каждым моим толчком букет вздрагивал — прямо над ее лицом. Едва я кончил, даже еще не успел выйти, она выпростала левую руку, приподнялась на локте, проворно отщипнула от букета и положила в рот. Помню, я догадался с разочарованием, что, видно, она все это время искала глазами сиреневое пятицветие. А найдя и дождавшись конца — сорвала и проглотила на счастье. Но сейчас, отчетливо вдруг все это припомнив, я решил, что она

правильно сделала. Ибо мы и впрямь стали счастливы. И там и здесь, и здесь и там.

глава XIV

ПОЛНОЛУНИЕ НА ХЭЛЛОУИН

Был Хэллоуин, к тому же пятница. Выпивали в мастерской Джима, нынешнего Анниного бой-френда. Анна в элегантном легком пальто из богатого магазина сидела тут же, за Джимовым рабочим столом, полным склянок, пузырей и реторт. Она сказала мне о Джиме через минуту после того, как ночной ам-трак, доставивший меня из Нью-Йорка, подкатил к перрону Вашингтонского вокзала. Мы не виделись много лет, а перестали писать друг другу уже года два назад. Она почти не изменилась, чуть заострилось лицо, чуть мускулистее и поджарее стали ее красивые ноги. О том, что она постарела, говорили только глаза. Мы обнялись на мгновение, как очень далекие родственники, почти позабывшие друг друга. Она сказала о Джиме, чтобы объяснить, почему не может пригласить меня к себе, а повезет в гостиницу. Недорогую. Близко от центра. После этого мы встречались раз или два, хоть и прошло дней десять. Сегодня же ей, видно, стало совестно в праздник оставлять меня одного. А может быть, Джим пожелал на меня взглянуть.

Когда-то он был разведчиком, сидел в Мюнхене — наверное, на радиоперехвате, потому что по-русски говорил почти без акцента. Когда всё осточертело, — и

это трудное слово он выговорил без натуги, быть может, чуть мягче, чем надо бы, — он вышел в отставку и занялся реставрацией масляной живописи. Ему было около шестидесяти, и на Джеймса Бонда он не был похож. На нем были растянутый свитер и отвислые штаны, в левом ухе посверкивала серьга. Я был несколько удивлен почти русской простотой этой мастерской: Анна была все-таки чуть сноб, к тому же, как выяснилось, она потеряла работу в своем университете, переехала в Вашингтон и, казалось, должна была бы найти себе любовника попрестижней. Может быть, ее и Джима объединила Россия...

Тут-то и пришел князь. Как ни странно, случайно я уж читал о нем в «Вашингтониан». Князь занимал разговор вместе с женой-американкой, белозубой брюнеткой, готовящейся, казалось, к отпору, и с темненьким же сыном, по-американски веснушчатый. Заголовок «Ваше высочество?» был снабжен знаком вопроса. Но ирония, как я сейчас убедился, была неуместна: князь вышел совсем натурально, с красным носом, с карими глазами, с приплюснутым подбородком. Разумеется, русский князь, здесь и сомневаться было нечего.

Я, конечно, принес «Столичную», что само по себе нелепо: «Абсолют», разумеется, лучше, на худой конец, можно было взять «Финляндию», но за патриотизм нам всегда приходится расплачиваться качеством. Закуски у Джима не было никакой, если не считать тонких ломтиков бекона в пластиковой упаковке, какие в Америке употребляют только для яичницы с картошкой, что называется кантри-брекфэст. Хлеба не было тоже. Мы отглатывали «Столичную», обмениваясь с князем преуве-

лично вежливыми репликами. Все были очень осторожны. Действительно, компания подобралась чудная: итальянка Анна, разведчик Джим — ее любовник нынешний, князь — дитя русской эмиграции первой волны, и я — бывший Аннин любовник и посланец далекого советского мира. Некоторая неловкость висела над столом, но на середине бутылки, как раз под кремлевской звездой, к нам присоединилась милейшая глупышка лет тридцати — с невероятной талией, темными распущенными волосами и глазами коровы. В ней чудилось что-то малайское, но она сказала, что — французенка. Я не удивился, я уже успел усвоить, что в Америке каждый, тот, кем хочет быть и кем себя называет. Скажем, в России назваться писателем — претенциозно, а здесь сколько угодно, можно даже представляться космонавтом, что вызовет лишь легкое вежливое восклицание. Все с облегчением занялись французенкой, и она рассказала, что снимается для рекламы, и это почти наверняка было правдой. Князь добавил по-русски, что, по-видимому, она ищет по сингл барам, где он с ней вчера познакомился, мужа-миллионера, и при ее талии это не было так уж глупо. Она была очень секси, невозможно было отвести глаз.

Бутыль кончилась, и мы вчетвером — обе дамы и мы с князем — решили пойти в ресторанчик, князь обещал показать: милейший. Джим, улыбаясь, отговорился тем, что завален работой, пожал мне руку и потрепал по плечу Анну: мол, все ОК. Что ж, Хэллоуин начался на славу: князь был очень симпатичен и явно гуляка; мы шли в ресторанчик в компании с двумя очень красивыми женщинами. Но — первой дезертировала

малайка: князь привел нас в дешевую греческую забегаловку, где самим надо было идти к стойке за вином, и, когда он отошел, она поинтересовалась у нас, правда ли, что он — русский принц. Получив утвердительный ответ, но что-то смекнув, она решила про себя, очевидно, что князь — это все-таки не миллионер, что было недалеко от действительности. И исчезла.

Мы сидели втроем за тесным столиком. Мне было хорошо оттого, что я так близко вижу лицо Анны. Мне хотелось спросить ее, помнит ли она Бибирево, и Питер, и «Асторию», и ВДНХ и пила ли она с того сумасшедшего лета хоть еще раз — «Старку», но я не был настолько пьян, чтобы не понимать, что говорить обо всем этом при товарище Джима неуместно. Впрочем, это было бы неуместно и наедине. Когда мы еще два раза по очереди с князем сходили к стойке за графинами терпкого красного греческого вина, Анна убедилась, что, по видимому, я в хороших руках, и сказала: «Извините, но меня ждет Джим». И тоже ушла. Я лишней раз позавидовал ее четкости. Будь дело в Москве, я никогда не смог бы уйти от нее вот так...

Вдвоем за тесным столиком на тротуаре неподалеку от Дюпона, района сингл-баров, гомосексуалистов и ориентальных едален. Было около десяти, луна светила сумасшедше, красное вино густое и темное. Я все тревожился, не потерять бы в такую ночь ключ от входной двери и от номера в гостинице, напоминающей охотничий домик, в Вудли, как раз напротив отеля, похожего на тот же шератон. Я в очередной раз ощупывал карман, когда князь сказал:

— Хотел бы, чтобы ты прочитал воспоминания моей матери. — И добавил: — Может быть, это будет интересно в Москве...

Молодежь расходилась после праздника, завтра в школу. Набрав монет, конфет и наменяв наклеек, кучки тинейджеров тянулись от метро, в черных трико с на-малеванными на них фосфоресцирующими костями, с испачканными сажей лицами. Мы допили вино и перебрались в «Рондо».

Здесь я уже бывал, пил днем пиво, разговорился как-то с барменшей-индонезийкой по имени Яти, коротконогой и грудастой, коричневато-желтой, совсем гогеновской. И был приятно удивлен, когда, скорчив в улыбке свою плоскую рожицу, она пропела, завидев меня: «Ха-ай, Колья!» К князю вышел хозяин, пышно-усый серб в слишком дорогом для серба-трактирщика костюме, они расцеловались по-славянски.

— Я должен здесь долларов полтора, — успел шепнуть князь, и я у стойки заказал вина. Впрочем, князь тут же унырнул куда-то, а луна пристально смотрела сквозь чистые тонкие стекла. Я предложил Яти, пока она наполняла бокалы, подождать и проводить ее после работы.

— Ты опоздал, — сказала она на своем индюшачьем английском.

— Вот как. — Я выхожу замуж.

— Когда?

— Завтра. За миллионера.

— Мои поздравления...

Скорее всего, она надо мной посмеивалась, но вежливо. Ключи были на месте.

Князь появился, с ним оказалась африканка, совершенно черная, с жарким ртом, невероятно плоская и узкая, с курчавой шерсткой на яйцеобразном черепе, и очень отдаленно она напомнила мне незабвенную Элизабет Смит. Впрочем, у этой было совершенно неопределенного звука имя.

— Ты же у меня не был, — говорил князь, — я живу недалеко, в одном блоке квартирка... вернее, студия... свободный брак... сын живет с нею... там же и моя машина...

Я видел его жену на фотографии, ничего свободного, скорее всего, князь был выставлен.

— Вейн веритас, — пробормотал он и хлопнул свой бокал, вполне могло быть, что этот каламбур он придумал только что.

Была последняя ночь октября, из открытых дверей прощально пахло теплой листвой. Бар плыл. Легко поверить, что в такую луну оживает единственный раз в году привезенная некогда пилигримами из Нового Света кельтская нечистая сила.

— Зайдем ко мне, — предложил князь, — захватим вина и зайдем.

Нос у него стал совсем кельтским. Я смотрел на часы, они показывали то же, что и час назад.

Князь жил в Адамс Морган, это было по пути в мой охотничий домик. Мы шли темной улицей, справа лежал черный Ист-Норт, где не водятся даже белки, должно быть потому, что там не растут деревья. Хотя белок в Вашингтоне, как крыс в Бронксе.

— Полнолуние, — бубнил князь, опираясь одной рукой на свою африканскую проводницу, другой прижимая пакет с бутылками, — хэллолуние, лунохолие.

— У-упс-с, — сказала африканка, указывая вниз.

На краю тротуара стояла полая тыква с прорезанными глазами, носом и ртом. Внутри черепа светилась свечка.

— Знаешь, — шепнул князь, хоть африканка все равно не поняла бы, — я не слишком уверен, что она — девочка. Может быть, это мальчик. Какое-то биинг, как ты думаешь?..

Квартирка князя была — одна спальня и половина ванной, как здесь говорят. Логово: бутылки по полу, полки с разрозненными вещицами и несколькими дешевыми книжонками в бумажных обложках, продавленная лежачая и сидячая мебель, грязноватое полотенце на единственном столе, маленький этюдник на середине комнаты, на котором стоял картон с мазней, напоминающей что-то левитанское. Князь отвернул этюдник к стене, усадил африканское существо в выемку дивана, завел пластинку на вращающемся с хрустом проигрывателе. Это был, кажется, Рубашкин.

— Рашн сонгс, — пояснил князь, откупоривая. На второй бутылке он извлек откуда-то снизу папку с рукописью. Я взял папку под мышку и откланялся. Африканское смотрело вверх моей головы. Дорогу я разыскал легко, но когда шел через Дюк-Эллингтон-бридж, снизу, из зоосада, донесся кошачий крик павлина. Ключи были на месте, но тут же, в свете фонаря, я обнаружил, что потерял магнитную карточку электронного банка, которую получил только накануне и которой гордился.

Войдя в номер, я раздвинул шторы, луна висела за стеклом, шератон был темным параллелепипедом, лишь кое-где тлели ночники. Кондиционер потрескивал, хоть я полагал, что смог отключить его, уходя. Я зажег настенную лампочку, лег в постель, рукопись княгини прихватив с собой. Ее девичья дворянская фамилия оказалась попроще княжеской, но вполне приличной. Сперва шли неверные описания юношеского сада, потом платоническая и велосипедная, как у Набокова, любовь в аллеях усадебного парка, потом прощание с родными и отбытие в Смольный, и повеяло терпкой российской грустью от сложенных в прихожей корзины и чемоданов. Имя усадьбы тоже тихо поскуливало и подвывало.

Всяческие девичьи расстройства, источником которых была сухая классная дама, я пролистнул, как и гораздо более красивую подругу, позже умершую от тифа в большевистском Петрограде неполных двадцати лет. Литературно опознаваемые приметы мировой войны казались вполне беллетристическими, впрочем, я сообразил, что княгиня — чуть моложе моей бабушки, тоже смолянки и тоже в те годы — сестры милосердия, на память о чем оставлено фото в семейном альбоме — белый кокошник с черным красным крестом.

У меня была запрятана флажка виски, я не поленился, встал, разыскал ее в сумке, свернул голову и, отхлебнув, лег на место. В семнадцатом будущая княгиня оказалась в Киеве, и я подробно отхлебывал ее первый в жизни роман — совершенно турбинский, с неизвестностями и историческими эксцессами. Юноша рисовался симпатичным, с ясными глазами, идеалист, сведения

о его расстреле дошли не сразу. Нужно было бежать. Усадьба дяди под Каменец-Подольском. Природа. Еще вчера вежливый управляющий, нынче усаживающийся посреди гостиной в мокрых сапогах, добрались-таки мужички и до Остапенко, пустили красного петуха; две младшие кузины перепуганы насмерть, впрочем, и управляющего потом заколют ржавыми вилами.

Собственно князь все не появлялся. Виски между попойкой и похмельем располагает к слезам и пафосу. Что — всем нам, живущим по обе стороны, равно не отделаться от воспоминаний о смертных годах российских убийств? Тут я понял, что хочу в Россию.

Мягко говоря, это было нелогично. Тем более появился и князь — отчего-то на одной ноге, потерянной в борьбе с большевиками. Женитьба, первые роды и побег в Галицию, потом дальше, в глушь. Новые роды, Польша, неведомый лес, в котором князь служил то ли объездчиком, то ли лесником. Но пришлось и отсюда бежать. Давясь виски и слезами, я повторял вслух глухонемые названия полустанков, через которые шел их эшелон. Одна мысль — не отстать бы, не потерять бы место, добраться бы — никому неизвестно куда... Тут мне захотелось позвонить Анне, но я вспомнил, что этого делать нельзя. Да и чем мне могла помочь теперь Анна...

Когда я очнулся, мне показалось, что поздно. Молодой негр уже откопал в мусорном баке пластиковый стакан и уселся на углу, свесив голову и вытянув руку — к ланчу будет полным-полно мелочи. Я позвонил князю, чтобы поделиться впечатлениями. Похоже, я разбудил его, во всяком случае, он долго не мог понять, о чем

речь. Я пообещал взять рукопись княгини с собой в Россию. Он поблагодарил. Долго кашлял в трубку, я почувствовал, как сухо у него во рту.

— Она только что ушла, — сказал князь, — и ты знаешь — оказалась девочкой. И прелестной.

И мы с ним согласились, что африканская девочка — это тоже совсем-совсем неплохо.

глава XV

ТАКОЙ ФЛОРИДЫ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ

— Не скрою от вас, любезнейший, — обратился ко мне Андрюша, — что вы — законченный идиот. — Мы только что покинули придорожный мотель, где переночевали ввиду известных обстоятельств. — Видите ли, эта ваша американка — весьма хороша. Ее даже ебать можно. Так зачем же вы на ней не женитесь?

Раннее утро, но уже и парит, и палит. Дежурный американский хайвей пересекал городишко Теллахасси, куда нас по случаю занесло, и стал называться по такому поводу не то Вашингтон-авеню, то ли Линкольн-роад; дешевые забегаловки «Макдональдс», магазинчик «Воггли-Поггли», бензоколонки трех разных пород, рекламы «Холлидей-Инн» и китайские ресторанчики. С одного из них, «Даг-Палас», вчера все и началось.

— Что ж вы молчите, прекраснейший?

Мне было лень отвечать. Даже думать о женщинах сейчас было лень. К тому же Андрюша был прав. Мне бы нужно было на ней жениться, — боже, на скольких

иностранках я покушался жениться, пока был там, в России. Ведь и здесь, в антиподах, где я последнее время обретался, есть множество формальностей — виза, срок которой к концу гранта у меня истекал, мечта о получении грин-кард, — женитьба на натуральной американке из среднего класса могла присниться советскому гостю лишь в золотом сне. Впрочем, и эта была русской, из семьи беженцев второй волны, — из бедной послевоенной бронксовской эмигрантской семьи зубного техника. Ее старший брат служил в полиции, но она закончила Колумбийский университет, работала в колледже и получала свои сорок тысяч.

— Две спальни и две ванные комнаты — это нас уже не устраивает. Плюс сауна, джакузи, гараж, гостиная, столовая на первом этаже, кабинет и гостевая комната на втором...

— Два кота, — добавил я, — и муж-американец.

— Оставьте, великодушнейший, какой такой муж, если он покинул нас и бросил хозяйство, бежав без оглядки.

— Котов зовут Сципион и Ганнибал, — гнул свое я.

— Конечно, милейший, она ведь училась в айвेलлиг! И потом — она не совсем позабыла свой домашний русский, и с ней можно ворковать на нашем отечественном наречии. Вы болван, дражайший. Если не хотите жениться сами — уступите товарищу. Такой шанс выпадает раз в десять лет! — Он приостановился, бросил жевать «тутти-фрутти», которую потреблял в невероятных количествах («Недожевал в детстве, — пояснял он, — ведь мы, дети международного фестиваля молодежи и студентов, в шестнадцать только учились фар-

цевать»), и, насупившись, прислушался к чему-то, оттопырив зад и раскорячив ноги. — Льет, — констатировал он, — как началось утром, так и не останавливается. Проклятый геморрой! Каково — ходить по столице штата с промокшим окровавленным задом! И что подумают о вас, чопорнейший, скромные белые англосаксонские протестанты?

Он с укоризной покачал головой, чуть пританцовывая, и белесое флоридское небо качнулось в его элегантных очках. Я взглянул сзади на его ситцевые, в голубую полоску шорты по колено, приобретенные нами вчера в магазине «Дресс фо лесс». Все было сухо, чистая мнительность.

— Еще у нее есть абонементы в оперу и на все концерты оркестра Ростроповича в Кеннеди-центре. Она меломанка, — сказал я.

— Это вас не оправдывает, музыкальнейший, — отвечал он, успокоившись и продолжая жевать. — Что ж, сегодня придется взять день отдыха. Прихватим у хозяев ихнего кролика и — черт с ним, с кондишном — махнем на океан!..

Наши здешние хозяева, немолодая русско-американская пара, невесть как занесенная во Флоридский университет, помимо норовистого моложавого «форда», — имели еще и скромный «фольксваген-раббит» с неработающим кондиционером, что по местным понятиям равносильно отсутствию двигателя, — на него-то и покушался теперь Андрюша.

— Покатим в Панама-бич. Иначе зачем мы приобрели вчера красивые купальные трусы! Нет, представьте себе, нежнейший, мы залезаем в теплую водичку,

потом вылезаем и жрем какую-нибудь местную си-фуд, запивая прохладненьким калифорнийским. Представьте себе свеженьких устриц, только что пойманных под сваями Сент-Джорж-бридж, маленький ресторанчик с видом на Мексику, хозяин — из отставных контрабандистов, кубинец-эмигрант, наша мадам мне вчера подробнейшим образом описала маршрут...

С хозяйкой нашей, московской еврейкой, сокурсницей Андрюши по Мориса Тореза, он часто предавался хемингуэевским воспоминаниям, дискутировал о судьбе котов на вилле на Ки-Уэст, но утыкались разговоры всегда — в Париж, да и говорили они — по-французски, поскольку хозяин-ирландец, специалист по Андрею Белому, разговорного русского не понимал, а Андрюша подзабыл свой второй английский. Хозяйка апеллировала ко мне. Андрюша прерывал ее — он же не понимает! — и она живо говорила по-русски:

— И что, Николая, вы никогда не бывали в Париже?

— Я оставил Париж на десерт, — скромно отвечал я.

— О, я завидую вам, вам предстоит — Париж! Жить можно только в этом городе, — добавляла она с застарелым ханжеством беженки из Марьиной рощи.

Во Флориду мы прибыли три дня назад из Вашингтона. Причем самым утомительным, но дешевым способом — на автобусе Грейхаунд. Собственно, подбил меня на эту авантюру Андрюша, мой давний московский знакомец, из круга посетителей Дома кино, приятель О.О. и Сережи Богословского, стареющий мальчик из поросли московских пижонов шестидесятых годов. Он выбрал маршрут верно: прилетел в Вашингтон, ра-

зыскал меня и объяснил, что катит на автобусе до Теллахасси, куда получил приглашение старинной приятельницы. Я принимал его у Наташи, в сауне с джакузи, он вел себя чинно; говорил за столом о французской живописи и был забавен. Но Наташин шик явно покорило его, и он возвращался к моей матримониальной расточительности не раз и не два. Я недолго сопротивлялся его планам флоридской поездки, только предпочел бы все-таки поезд. Но он уверял меня, что следует видеть Джорджию и Алабаму изнутри, то есть — ошиваясь на заселенных черным людом автовокзальчиках во время ночных остановок, когда вокруг не видно ни зги.

Я согласился не только потому, что меня одолела страсть к путешествиям. Отношения с моей вашингтонской подругой, с которой познакомила меня, конечно же Анна, о чем вскоре и пожалела, объявив по телефону звенящим голосом, что я плохой друг, едва узнала, что мы с Наташей спим, — так вот, отношения наши, по мере приближения к концу моего срока пребывания, делались все более нервными. Она возобновила бассейн по средам, боди-билдинг по пятницам; она не настаивала больше на том, чтобы я сопровождал ее в Кеннеди-центр, а нацепляла пышный бант, вовсе не идущий к вечернему платью, и не интересовалась, как я собираюсь коротать вечер; всплыл даже какой-то давний ее друг, композитор-авангардист, приносивший слушать свои сочинения для фортепьяно, полученные не иначе как закатыванием в рояль бильярдных шаров; участились звонки беглому мужу, с которым она, больше меня не стесняясь, вела какие-то переговоры имущественного порядка; наконец, она взяла привычку

спорить по пустякам, с утомительной страстью, вскрикивая: «Зачем ты говоришь, что все знаешь». Впрочем, она долго терпела. Судите сами, вот как мы жили.

Утром она торопилась на работу, а я был вольный исследователь-артист в своем институте, в мои обязанности входило кормить котов кошачьими консервами. Полуфабрикат моего завтрака ждал меня обычно на кухонном столе. Мне оставалось выпить уже налитый стакан джюса, сунуть в микровэйв свой корн и нажать на клавишу кофеварки. Тот факт, что она примирилась со многими моими, невыносимыми для нее, привычками, отнюдь не казался мне чем-то само собой разумеющимся. Конечно, как любая женщина, заполучившая мужчину в долгое пользование, да к тому ж брошенная, она прикидывала, не подойду ли я ей в мужья. И, как всякая американка, не сомневалась, что в браке сможет изменить режим — как же иначе, ведь это будет совсем другой контракт. Но — и мне хотелось в это верить — быть может, мое поведение, так ни в чем не совпадая с поведением буржуазных американских мужчин, напоминало ей ее русское эмигрантское детство, а может быть — чем черт не шутит, — она вообще смотрела на меня, как на осколок своей далекой родины, на которой никогда не бывала.

А привычки мои были воистину ужасны. Начать с того, что по утрам я курил в постели, это в спальне-то, где все тряпичное, мягкое, чувствительно вбирающее в себя никотин. Потом, посетив сортир, я наливал себе полную ванну почти горячей воды и укладывался в нее — читать газету, и каждую проведенную мною там минуту неумолимый счетчик отщелкивал ее, Наташины,

центы и доллары. Не одеваясь, в махровом халате на голое тело, я переносил свой завтрак — в гостиную, устраивался на мягком диване, врубал телевизор — но нет, не концерт Брамса по соответствующему кабелю, который она абонировала, — и уже к одиннадцати открывал первую банку «Хайнекена». Коты — самого что ни на есть сволочного подросткового возраста — скакали по мне, и я выпускал их в дверь веранды, объясняя потом Наташе, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Эта цитата, разумеется, ничего ей не говорила.

Американцы относятся к сексу, как к бизнесу, политике, собственному здоровью, отношениям между собой, налогам, деньгам, — с невероятной серьезностью: слушают уроки в школе, прилежно изучают пособия. Им в голову не приходит, что есть вещи, которым научиться нельзя. Эта наивная убежденность часто подводит их, и тридцати — с лишним — летние женщины, дебютировав в университете, имевшие, как минимум, десяток бой-френдов, а потом мужа, чаще всего остаются невероятно наивными в этом смысле: у них ведь для любви отведены уикэнды, а вечера по будням — для спорта после работы. Они не задумываются над тем, что вслед за паузой в свиданиях приходится начинать все сначала, повторяя уже пройденное, и секс превращается в пустой ритуал, как курение одной сигареты с марихуаной по кругу из шести человек.

Наташа не представляла в этом смысле исключения, но довольно быстро вошла во вкус. Когда я впервые предложил ей улечься, что называется, валетом, она совершенно не понимала, чего я хочу. Я же думаю, что эта тяга зайти с перевернутой стороны шла у меня от

того, что моя бедная родина осталась от меня на обратной стороне земли, под ногами, и, постоянно нося ее в сердце, я чувствовал, что в Америке живу вниз головой...

— И кроме того, у нее — везде утки, — проговорил я.

— Что такое? — насторожился Андрюша. — О чем вы?

— Даже телефон в ее кабинете — утка.

Андрюша даже притормозил.

— Вы хотите сказать, что прекраснейшая наша подруга страдает недержанием кала? Что у нее, по-русски говоря, медвежья болезнь?

— Нет же, просто тут недавно разразилась мода на декоративных уток. Ты не можешь себе представить, что эти утки попадают у нее повсюду... И в ванне плавает утка с налитым внутрь шампунем. Похожая на подсадную.

Андрюша задумчиво смотрел на меня.

— Да, это несколько меняет дело. Сам-то я как-то не заметил. Понимаю вас, эстетичнейший. Слушайте: не поискать ли нам здесь где-нибудь ну хоть «Туборга». И ни слова о «Будвайзере», пусть аборигены сами пьют эту мочу, она хуже, чем «Жигулевское» из пивняка...

В китайский ресторан вчера нас привела национальная привязанность к пельменям после бани. С утра мы были десантированы в университетский бассейн, где насмотрелись здоровых студенческих тел, не помышлявших, казалось, о плотских утехах, лишь о рекордах в спорте; в кампус-баре под названием «Phirst» в это время подавали только оранж-джус. Текилу, лю-

бовь к которой я прививал Андрюше методически, мы взяли в магазинчике, выбрав недорогую, «Восход Солнца». Поплутав, попали на хайвей, мимо которого здесь не промахнуться. «Утиный дворец» привлек нас названием, и мы не ошиблись: стим-дамплинг съели по три порции, хоть китайцы и считают это всего лишь горячей закуской, от утки по-пекински и свинины по-сычуаньски отказались решительно, но потребовали к текиле лимон, а запивали все холодным китайским пивом. Трапеза живо напоминала студенческую, с водкой из кармана, в чебуречной на углу Сретенки или в пельменной на Чернышевского. Из соображений экономии и тяги к перемене мест выпивания, водки мы здесь заказывать не стали, но расплатились и отправились искать поблизости вайн-стор. На хайвее алкоголя не продавали, посоветовали свернуть прочь от известного нам центра, каковым считались два квартала вокруг аляповатого здания, имитирующего Капитолий, и белого дома губернатора с полосатым флагом, торчавшим из подстриженной лужайки; мы очутились среди довольно достойных домиков, но все отчего-то кучившихся, хоть земли здесь сколько угодно. Было около четырех и совершенно пустынно, только на одном углу мы завидели фигуру негра в соломенной шляпе. Уразумев наш вопрос, он вызвался проводить. У него была добродушнейшая рожа, мелкие седые кудряшки выскакивали из-под шляпы, широкая печальная улыбка, таким в детстве мне представлялся дядя Том, владелец хижины.

— Я алкоголик, — пояснил он, улыбаясь, и для убедительности похлопал себя по груди черной рукой с чистыми розовыми ногтями.

Через квартал к нам присоединилась молодая негритянка, стройненькая, со смазливym личиком, с двумя невинными ленточками в косичках, в ботинках на босу ногу, какие у нас продавали некогда в магазине «Рабочая одежда».

— Это моя сестра, — пояснил дядя Том.

Вскоре мы действительно достигли магазина; наши новые приятели наперебой заказывали: дядя Том тыкал в громадную бутылку «Смирнофф», девушка попросила чего-нибудь сладкого. «О'кей», — сказали мы с Андрюшей. Сестра получила бутылочку ананасного ликера, русофил дядя Том — скромную фляжку водки, которую он, печально улыбаясь, покорно принял из рук продавца. Себе мы взяли еще текилы «Сан Райз». На улице, размахивая своим пузырем, Андрюша объяснял нашим спутникам, что мы не из Мексики, но из Москвы (Смирнофф, йес?), ребята вежливо соглашались: Мексика, йа-йа.

Они привели нас к глухому сарайчику, то ли гнездо команды тимуровцев, то ли подмосковная голубятня, обросшему неведомого характера кустами. Была и завалинка. Мы уселись рядом, причмокивая каждый свое, как появилась и еще одна очень черная девушка с широким прыщавым лицом и тоже уселась — без приглашения. Всякий из нас пил не спеша, чуть отглатывая и смакуя, так в молчании прошло минут пять. Новенькая поманила Андрюшу за сарай, он галантно извинился, приложив руку к груди.

— Тоже сестра? — спросил я дядю Тома.

— Очень плохая женщина, — покачал Том мудрой головой. Андрюша выглянул:

— Она просит десять долларов.

— А что предлагает?

— Полагаю, все что угодно, хоть я, вы знаете, великодушнейший, по-ихнему не очень. Как думаешь, давать?

— Лучше не надо, — отвечал я ханжески, втайне ревнуя, что та выбрала не меня.

— Как скажете, мудрейший, — отозвался Андрюша и без видимого сожаления опять уселся.

С неподвижным лицом вышла из-за сарая и соблазнительница, шмыгнула широким носом и удалилась вдаль по улице, уже подсвеченной закатом.

Продолжали хлебать.

Прошло еще сколько-то молчания, как моя соседка тронула меня за рукав: пустая бутылочка из-под ликера лежала у ее стройных ног. Я наклонился, и она быстро зашептала мне на ухо; смысл был тот, что ее парень недавно всю-всю ее порезал ножом (она даже приподняла кофточку, чтобы показать раны), но ей тоже нужны десять долларов. В ответ я молча дал ей отхлебнуть текилы, а потом хлебнул вслед за ней, прикидывая, убивает ли сорокапятиградусная мексиканская водка личинок здешних глистов и гордясь отсутствием в себе и намека на расизм. Появился молодой негр со слишком блестящими глазами и уселся на корточках прямо напротив меня, метрах в полтора. Быть может, это и был ее парень.

— По-моему, пора сваливать, — сказал Андрюша, а ведь он не слышал нашего с сестрой разговора.

Дядя Том бесстрастно мусолил последний глоток «Смирнофф». По переулку, озираясь, шла худая белая

женщина, в светлых джинсах и пестрой рубашке, схваченной узлом на животе, с немым и бескровным лицом.

Андрюша помахал ей рукой, но заметила ли она — было не понять. Молодой проводил женщину глазами.

— Хорошо сидим, а, ребята, — вскинулся Андрюша, ударив дядю Тома по плечу, а сам состроил знакомую мне волчью улыбочку.

Дядя Том не дрогнул, подставил свою фляжечку, и ему было отцежено текилы. Женщина шла обратно, то и дело оглядываясь на нас.

— Эй, подожди, крошка, — заорал тут Андрюша.

Мы повскакали с мест, не сговариваясь, подбежали к этой белой леди, подхватили под руки и пошли вперед быстрым шагом, не задерживаясь. К нашему удивлению, через минуту мы опять были все на том же хайвее, в руках — склянки с текилой, но уже не мы ее, наша спасительница нас энергично влекла под локотки, пока не поставила перед стойкой мотеля, а служащий невозмутимо подвинул мне раскрытую книгу, попросив, чтобы я написал в ней свое имя. Я написал.

— Сорок долларов, — сказал он, и я дал ему сорок долларов. Взамен он протянул ключ и ткнул пальцем вверх, в потолок.

Наша комната была на втором этаже, куда вела внешняя лестница. Дверь распахнулась, это был чистенький номер с двумя кроватями, стоящими посреди не, и дверью в ванную в углу. Не успели мы оглянуться, как наша дама стояла перед нами голая; без одежды она казалась даже привлекательной: довольно свежая грудь, стройные худые бедра, удлинённый лобок в светлых кудрях.

— Спроси, у нее есть подруга? — нашелся Андрюша.

Я спросил.

— Она сейчас будет, — был ответ.

— И сколько это стоит? — догадался поинтересоваться я.

— Сто за два часа. Пятьдесят и пятьдесят.

Мы глотнули текилы.

— У тебя есть сто долларов? — спросил я Андрюшу.

— Откуда, — отмахнулся он, с неподдельным вниманием разглядывая нашу подругу.

— У нас нет наличных, — сказал я ей.

Реакция была мгновенной: через секунду она была в трусиках, в джинсах и натягивала рубашку, как в дверь постучали.

— Войдите, — сказал Андрюша — почему-то по-французски.

На пороге стояло изумительное существо женского, судя по многочисленным признакам, пола — кругленькое, в очках, похожее на аспирантку математического отделения. Из-за толстых стекол смотрели очень большие глаза.

— У них нет кэша, — сказала первая, — идем отсюда.

— Куда же! — воскликнул Андрюша, так и впившись в аспирантку глазами.

— У меня есть чековая книжка, — сказал я.

— Э, — подняла глаза к небу первая, завязывая узел на голом животе, и презрительно сплюнула.

— Но... — сказала аспирантка.

— И ты возьмешь у него чек? — спросила первая.

Аспирантка пребывала в нерешительности, но я уже строчил в чековой книжке.

— Ты немец? — спросила первая леди.

— Немец он, немец, — заорал Андрюша по-русски, а я вручил чек на сто долларов очкастой, попросив ее самостоятельно вписать фамилию. Потушив сигарету, первая опять начала раздеваться, аспирантка же все искала — куда бы пристроить сумочку; тут Андрюша налетел на нее цунами, первым делом снял с нее очки, а там стал потрошить и кофточку. Мы моргнуть не успели, как аспирантка с Андрюшей уже барахтались на постели.

— Дай ему презерватив, — попросил я оставшуюся на мою долю подругу.

— О, она совсем чистая, перфект, — отвечала та и повлекла меня в ванную.

У нее в руках оказалась банка из-под диетической пепси-колы, краем зажигалки она сноровисто проткнула в ней дырку, потом, держа банку горизонтально, положила сверху крохотный брикетик чего-то серого, чиркнула, из отверстия, откуда принято пить, повалил желтоватый дым. Она уселась по-турецки прямо на кафель и повлекла меня за собой. Затянулась, передала банку мне с осторожностью. Это был крэк. С первой затяжкой я почувствовал лишь едкий вкус тлеющей нитрокраски. Вторая пошла вкуснее. Мы сидели на прохладном полу, передавали банку друг другу, а в открытую дверь нам была видна постель, на которой Андрюша и аспирантка вытворяли черт-те что.

После третьего круга мы были уже как братик с сестричкой. Кокаин медленно вел нас по своим укромным дорожкам.

— Уэт видео, — смеялась она, и получился каламбур: толстуха-аспирантка оседлала моего Андрюшу, и пот с нее так и лил — в три ручья. — Она в первый раз со мной работает, — заметила моя сестричка, кивая на постель.

— Бунин, — сказал я, — три рубля.

— Что есть бунин? — хохотала она.

— Это такой банан, — хохотал и я, но скоро мне стало неважно. Я по-родственному целовал ее бледное отечное лицо, но в коридоре мне почудились шаги, а потом представилось, что я незаконно нахожусь в интуристовской гостинице и сейчас за мной придут. Должно быть, я спрятался под одеяло, потому что, проснувшись среди ночи, нашел себя одетым на постели; на соседней кровати ничком, лицом ко мне и без очков, лежал голый Андрюша, а из его рта текла на подушку желтоватая, как текила «Сан-Райз», слюна. Больше, естественно, никого, но бумажник мой был на месте. Я с тоской вспомнил Наташину мягчайшую кровать и то, как она шептала, подлезая под мою руку: «Можно, я к тебе принежусь?» В конце концов мы узнали один другого и привыкли, должно быть. Мания обратной стороны привела меня к тому, что я приучил ее розу Содома, говоря языком де Сада, самостоятельно и без крема открывать лепестки мне навстречу. Хотя, когда я вошел в нее таким способом впервые и не предупредив, она так страшно закричала, что я скатился вниз по лестнице и припал к спасительной бутылке «Джек-Даниэл», а со второго этажа неслись страшные ругательства. Насколько я мог разобрать — феминистского содержания...

Я опять заснул, держа руку на переднем, оттопыренном бумажником кармане.

Разбудил меня Андрюша, который громко матерился из ванной под плеск воды.

— Не скрою от вас, драгоценнейший, — сказал он, заметив, что я пошевелился, — это было отменное приключение. Но, во-первых, у меня прорвало узел и хлещет из зада кровь; во-вторых, осторожнейший, мы ебались без гондонов, а значит, отныне мы — вирусоносители АИДС, по-русски — спидоносцы.

Во рту у меня стояла отчаянная сушь и гарь, однако я пересказал Андрюше вчерашний разговор о том, какая у него была чистая девушка, к тому ж — девственная.

— Опизденеть можно, — сказал Андрюша и стал одеваться. — Кстати, прекраснейший, а вы, значит, так и не?

— Я был с алмазами на небесах, — проскрипел я.

— И что же, хороша местная дурь? И как проходит ломка?

Он сжалился надо мной, дал стакан воды, предварительно капнув в него текилы, и это принесло облегчение...

— Понимаете ли, восхитительнейший, — пояснял он, когда мы гнали в хозяйском «раббите» по узкой дороге на запад, к заливу и нейлоновые флажки, разделявшие встречные полосы, уютно пощелкивали, если Андрюша заступал на них колесом, — обожаю очкастых. Должно быть потому, что сам такой. Особенно, если минус пять и ниже. Когда мы с дамой избавляемся от оптики и одежды, то оказываемся как в аквариуме...

Мы проехали уже миль шестьдесят, Андрюша на свой риск миновал несколько развилок, но сосновый лесок по сторонам, вполне крымский, все больше скрывал от глаз признаки американской цивилизации. Все дороги ведут к морю, был уверен Андрюша, а мои сомнения подтверждал атлас автомобильной Америки, который я раскрыл на Флориде. Наконец появился указатель — Вудли Крик — и стрелка направо. Мы решили повиноваться с тем, чтобы найти хоть кого-нибудь, кто знал бы путь к Мексике и холодному калифорнийскому. Еще через милю мы завидели приличного вида ворота с надписью: Национальный парк.

— Приехали, — сказал Андрюша, вырубивая на пустынную стоянку перед чистеньким зданием — к тому же бесплатную, — здесь и отдохнем по стаканчику.

Внутри торговали сувенирами и майками с рисунками зоологического характера, ресторан был очень европейским, с умеренными ценами, но в нем не подавали алкоголя. В окна была видна поверхность озера, причал, какая-то водоплавающая посуда у него. Большой плакат призывал совершить экскурсию, но при встрече с аллигатором не кормить его и не обижать.

— Демократия, — сказал Андрюша. Мы решили экскурсию совершить.

Взяли билеты; за двадцать минут ожидания наш корабль наполнился американскими супружескими парами в шортах с выводками детей и фотоаппаратами. За штурвал встал приятного вида негр, мы отчалили, в микрофон полилась совершенно мне непонятная южноамериканская речь. По-видимому, негр отпускал шутки, потому что окружающие покладисто посмеива-

лись, я же разобрал лишь, что экскурсовод для удобства называет аллигаторов просто гейтерами. За нами сидела молодая пара, очень голубоглазый муж с очень некрасивой женой, какой и положено быть белой протестантке. Я решил, что это, по-видимому, чета фермеров из Джорджии, и стал от нечего делать подсчитывать их детей. Мы вплывали в какое-то широченное болото; над водой колыхалось прозрачное зеленое марево, будто подсвеченное, в джунглях по берегам перекликались неведомые птицы, повсюду валялись безжизненные панцири огромных черепах.

— Снэйк, снэйк, — загалдели американцы, и верно — в одном месте с ветвей тропического дерева свисала не коричневая палка, но натуральная змея, и можно было рассмотреть раздвоенный язычок, мелькающий между ее черных умненьких губок. Ни к селу, ни к городу в голове у меня раздалась виолончель Ростроповича, а среди джунглей мелькнула темная Наташина головка с бантом в волосах. Тут фермер обратился ко мне:

— Вы иностранцы?

— Да, — отвечал я, — мы из России.

— О, грейт! — сказал американец. — Я знаю, это возможно путешествовать русским теперь.

— Ит'с нид, — сказала его флегматичная жена.

— Ит'с кул, — согласился и он. — Ви бай ит. — Судя по последним двум фразам, это не были американские фермеры, это были американские профессора.

— Что они хотят? — поинтересовался Андрюша, не оборачиваясь.

— Они приветствуют советское правительство, которое наконец-то предоставило нам с тобой возможность проветриться.

— Приветствуют! — Андрюша обернулся, и волчья улыбочка появилась на его лице. — Переведи им, что мы с тобой всегда путешествуем. С самого детства. — Он заблестел очками. — Заказываем каюту у Кука, кладем кредитную карточку в карман...

— Что говорит этот джентльмен? — вежливо поинтересовался профессор, но я не успел ответить — детский гвалт оглушил нас. В микрофон что-то частил негр, посудина накренилась, загалдели и взрослые, но громче всех был Андрюша:

— Крокодилы, ебена мать!

Я тоже вскочил на ноги. На сухом островке метрах в трех от нас валялся табун аллигаторов. Был здесь и матерый замшелый самец, и мать-аллигаториха с выводком крокодильчиков, и неженатые особи, некоторые из которых переползали с места на место. По всей вероятности — аллигаторам было хорошо и чувствовали они себя, как дома. Я не заметил, что Андрюша тихо опустился на свое место. Он смотрел снизу на меня застенчиво из-под своих золотых очков, примостившись на краешке скамьи. — Проклятый геморрой, — пробормотал он.

Я улыбнулся ему ободряюще. Я готовился вступить в пятый десяток, Андрюша, не скрою от вас, добивал его. Был только март. Но я не мог отделаться от мысли, что — как ни верти — мы с Андрюшей попали во Флориду слишком поздно.

глава XVI

НА ПАРИЖ

— Фак-фак-фак, — залопотал Мишель, хлопая локтями по круглым бокам, жест из репертуара Джека Николсона.

И без того он походил на пингвина: приземистый, с круглым лицом в круглых очках, седеющий пятидесятилетний пингвин с косицей и серьгой в левом ухе. Чуть в стороне от садика, где мы сидели, на высоте метров десяти над землей время от времени почти бесшумно мчался поезд. По периметру торчали тощие, в пупырышках светлых шипов, розы; из-под земли глядели вылупившиеся крокусы; солнце косо било из-за угла, деля сад на два равновеликих треугольника. Не знаю отчего, но я испытывал тихое ликование при виде этого, казавшегося великолепным, европейского утра.

Вчера хозяева встретили меня в аэропорту и — я не рассчитывал на такую любезность, ибо видел Мишеля впервые — привезли в свой таун-хаус на немолодом «ситроене». Ужинали на кухне, в гостиной перешли к дегустации ягодных сортов пива из траппистских монастырей. Мишель поставил на видео вуди-алленовский «Манхэттен» — должно быть, чтобы дети не врубали «Европу». Отливать мы с хозяином, чтоб не карабкаться вверх на три пролета деревянной лестницы, выходили в этот самый садик, дверь куда вела из кухни, на зиму законсервированная. Судя по тому, что на улице уж давно было тепло, но дверь Мишель распахнул только сегодня, у него до меня не было мужской компании. Во

время одной из вылазок я успел шепнуть ему, что не соскучился по Нью-Йорку. Он меня понял — говорили по-русски, но он быстро схватывал; мы оставили хозяйку с детьми предаваться ностальгии по Штатам, на кухне налегли на кальвадос — текилы Мишель не держал. По случаю моего появления Ритуля сняла суровый акциз на крепкий алкоголь — шесть дней воздержания на полбутылки скотча по субботам, — и Мишель надирался с легким сердцем. Сейчас — было около десяти утра — мы пропустили по первой порции бренди: фак-фак-фак...

С Ритулей мы встретились совсем неожиданно — в Нью-Йорке, на русский Старый Новый год, в одном эмигрантском доме, и она воскликнула, как ни в чем не бывало: «Николя, мы часто вспоминали тебя — и я, и Гуля, и Ольга. Ты знаешь, она умерла...»

Конечно, я не знал. Если с Ритой мы виделись раз или два, когда она приезжала в Москву, то Ольгу после прощания в Шереметьево я не видел ни разу. И не слышал о ней почти ничего. Но по странной случайности здесь, в Штатах прочел роман Димы, вышедший в Париже за несколько лет до этого. Ольге, еще живой, и была посвящена эта книга, полная горечи, слез и эмигрантского стоического позерства. Но о нашей далекой Ялте Дима не написал ни слова.

— У нее был рак, — сказала Ритуля, — вот и не стало нашей Ольги.

Узнав, что весной я, скорее всего, возвращаюсь в Европу — на самом деле тогда, в январе, я еще этого не решил, — она воскликнула: «Но ты же будешь у нас в Брюсселе! О, он понравится тебе, мой нынешний, Ми-

шаня, он такой, знаешь...» Она чмокнула губами свою щепоть и со вкусом растопырила пятерню: супЭр!

Она почти не изменилась. Может, чуть пополнила. Кажется, даже волосы у нее были выкрашены в тот же цвет. С американским мужем, как прежде с французским, она разошлась и прилетела в Штаты оформлять развод. Уже лет пять назад она вернулась в Европу с двумя американскими детьми, один из которых в ее животе и совершал некогда тур Париж — Ялта — Москва, и сошлась с Мишелем, которого в свою очередь бросила жена-англичанка. Если суммировать их детей, то получалось, кажется, семь, а если подсчитывать русскую кровь — то три четверти на двоих, коли считать русской русско-еврейскую и русско-армянскую, — по матери Мишель был бельгиец, и дед его был потомственным аптекарем. Увы, ничего бюргерского в Мишеле не осталось, и нынче его космополитическое семейство говорило на англо-франко-русской смеси, а жило — цыганским табором. В Брюсселе я имел случай наблюдать, как разновозрастные тинейджеры — беглая англичанка троих из четверых общих детей оставила ему, — кое-как умытые и вовсе не причесанные, по утрам, по очереди просачиваясь на кухню: наливали себе кто сока, кто молока, кто какао, окунали в чашки крекеры, хрустели чипсами, грызли на ходу сникерсы и исчезали из дому один за другим. Обязанность засовывать грязные чашки в моечную машину закреплена была за Мишелем. Что ж, годы юности и он провел в Париже, Гулю и Олю знал с детства, Ритулю — со времен ее первого замужества, и их два судна были приписаны некогда одному порту. Объединив то, что осталось после крушений, они полу-

чили ковчег, на котором худо-бедно, но можно было плыть дальше...

— Эта толстая свинья пьет еще до завтрака, — констатировала Ритуля, выглянув из кухни. — А этот смолоду был пьяницей... Что будете есть?

За столом мы обсудили сегодняшние планы. Мишель, как бельгийский патриот, хотел непременно везти меня в Брюгге.

— На хер ему твой Брюгге, — сказала Ритуля.

Я же продемонстрировал эрудицию, заметив, что знаю происхождение слова «биржа». Это привело Мишеля в умиление, и он разлил по следующей порции.

— Там самое сердце континента, — не унимался я, — там, где прошла граница между Римом и Реформацией.

— Ведь мы могли бы завернуть в Дамме! — сказал Мишель.

— Родина Уленшпигеля, — сказал я.

— Ты русский, — сказал Мишель с благоговейной иронией, — только русские во всем мире так много читают! К тому ж, — обратился он к своей подруге, — могли бы доехать до Ла-Кока, надо же что-то решить с дачей.

— По телефону позвонишь, — сказала Ритуля.

— Там невероятные угри, — обратился ко мне Мишель.

— Да, но цены, — сказала Ритуля. — Эти свиньи бельгийцы берут такие налоги, что нельзя жить. И все для того, чтобы гордиться своими освещенными банами... Так что, ты едешь в Рим? — обратилась она ко мне.

— В Рим, — неуверенно согласился я.

— Значит, ты должен заехать в Париж. Подожди, я сейчас наберу Гулю.

— У меня нет визы, — сказал я, оглушенный. Кстати, я прилетел в Бельгию, потому что именно с бельгийской визой было меньше всего хлопот.

— Ты проснулась, подруга? Он хочет с тобой поговорить.

Я взял трубку.

— Здравствуй, котик, — услышал я. Безусловно, это был Гулин голос. Той самой Гули, с которой мы некогда искали клад в забытой Богом далекой стране. В грязном городишке у подножия гор. Даже котик припомнился мне, бродячий бездомный котик, так рвавшийся в другой мир.

— Предупреди меня, когда выезжаешь. Если не смогу тебя встретить, ключ будет у консьержки...

Собственно, что с того, что через много лет встречаешь знакомых в совсем иной части света. Мир мал, и, в сущности, впору удивляться другому: выпиванию четверть века подряд время от времени со школьным другом Сережей или тому, что много лет спишь с одной и той же женщиной. Постоянство много удивительнее, чем всяческая неверность, случайность закономернее, чем исполнение завета...

— И кому, скажи на милость, ты будешь предъявлять эту ебаную визу? — спросила меня Ритуля, когда я положил трубку. Только тут, когда я посмотрел на нее, я вдруг увидел, как много в этой ее вечной непосредственности и оживленности затравленности и тоски...

Мы, конечно, никуда не поехали, и весь день я бродил по городу. Шатался без цели по брюссельским

улицам, вдыхая воздух, просто вдыхая воздух; переел живописи в Национальной галерее, пил пиво то в одном кафе, то в другом; наблюдал издали за женщинами, обычными европейскими женщинами, чувствуя себя одновременно юным и стариком. Потом я пошел на вокзал, где долго изучал расписание. Шовинисты все надписи сделали, конечно, не на английском языке, но Париж все равно звучал как Париж, Рим как Рим и даже Льеж как Льеж. Из Льежа на Париж поезда шли буквально то и дело.

Много реже шли они в другую сторону — на Аахен. На Кельн, на Берлин, на Варшаву. За Варшавой расписание обрывалось, здесь был край того мира, по которому я болтался уже целый год.

За вокзалом начинался марокканский квартал, и, только что ступив на его улицу, я тут же поскользнулся на апельсиновой корке. Пора было возвращаться. Семейство ждало меня к ужину. Кажется, пользуясь случаем, Мишель и днем не отказывал себе в кальвадосе. Так что поужинал он быстро. До лонг-дринка дело не дошло — во всяком случае, у него. Мы сели с Ритулей в кресла, он — на диван, и через минуту он уже посапывал, и Ритуля взяла у него из пальцев готовый покатиться по ковру стакан.

Оказалось, она недавно была в России. Впервые за много лет. «Как мама?» — «Мама умерла, когда я жила еще в Америке. От рака. Как и Ольга». Я отчетливо представил себе, что нужно было предпринять в те годы, чтобы вывезти из России в Штаты умирающую мать.

— Так что там у меня никого не осталось, — сказала Ритуля.

«А у меня?» — подумал я.

— Только Гуля в Париже, — добавила она несколько нелогично, ведь мы говорили о России. Я хотел спросить, зачем же она моталась в Москву, но не спросил...

Я уезжал на следующее утро. Похоже, Мишель отвык пить два вечера подряд. О том, чтобы довезти меня до Льежа на машине, и речи не было, — я заверил, что отлично доберусь на электричке. Оттуда до Парижа меня отвезет любой проходящий поезд. Так что Ритуля и Мишель проводили меня только до вокзала. Электричка шла минут через двадцать, и Мишель увлек нас в буфет. Он взял пива и картофель-фри, которым бельгийцы доводят количество пивных калорий до полной нормы. Мы почти не говорили. Это было одно из самых грустных моих прощаний — черт знает почему. По сути, мы были почти чужие люди, но когда я высунулся из окна, а поезд тронулся, — они всё не уходили с перрона, — я подумал, что если б еще умел, то заплакал бы. По ним, интернациональные дети которых не понимают ни слова на том языке, на котором они предпочитают друг с другом ссориться, по себе и по всему нашему миру, который так мал...

В Льеже я быстро нашел свой перрон. Расписание я расшифровал правильно. В буфете купил пива и сэндвичей. Потому что помнил, что в немецких поездах нет ни буфетов, ни вагона-ресторана, который прицепят лишь в Берлине...

Вскоре я узнал, что Гуля погибла в автомобильной катастрофе через неделю после нашего разговора. Она случайно встретила какого-то своего бой-френда, которого не видела много лет. Они сильно надрались в рес-

торане и по пути домой врезались лоб в лоб во встречный грузовик. Оба умерли на месте. Только так я узнал, что Гуля никогда не водила машину, и за рулем сидел он. Быть может, если бы я был в Париже на его месте, все и обошлось бы, потому что тогда я тоже не водил машину и нам с Гулей пришлось бы взять такси.

глава XVII

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РИМ

Позади остались районы похожих на бараки многоэтажных инсул, мы проникли в город через Белорусские ворота, потом я долго не спеша шел широкой улицей, когда меня обняла, наконец, красавица площадей и глянули провалы закопченных, как после недавнего пожара, окон такого знакомого здания — без лестниц, террас и статуй, но с лепниной по карнизам, как принято было наряжать фасадные постройки при последнем из цезарей. Боже! Как забилося мое сердце! Предстали передо мной дома, которые я знал наизусть. Грустное чувство овладело мной, чувство, понятное всякому, приезжающему домой, когда все что ни было кажется старше, еще пустее и когда тягостно говорит всякий предмет, знаемый в детстве. Я обошел кругом родную пьядцу. Вдоль тротуаров и в переходах — повсюду толпился народ и шла торговля. Разнополый, разновозрастный, разномастный люд пытался сбыть с рук пепси-колу, лампочки накаливания, детские валенки с калошками, сардельки в связках, ношенные штаны, майонез,

дамские кофты с люрексом, семена огурцов и роз, банановый ликер, прошлогодний «Плейбой», железные болты, жигулевское бутылочное пиво, цветные майки с надписью «Йель», готовую пиццу, любовные романы, шоколадные батончики, носки ручной вязки, билеты беспроигрышной лотереи, видеокассеты с русскими порнофильмами, запасные части к автомобилю «фиат», жевательную резинку, очки для предохранения глаз от солнца, свиные копыта, сочинения Якоба Бёме, коньки для исполнения фигур на льду, вяленую рыбу, билеты в Театр оперетты, овечий сыр ломтями, балалайку, бастурму, купальные костюмы размера экстра-эль, индийский чай со слоном, коммунистические листовки, баранки в рассыпную, растворимый кофе в жестяных банках, сверла в наборе, книгу Гитлера «Майн кампф», кроссовки фирмы «Адидас», сырой ливер, мужские костюмы для занятий рэкетом, детские игры в картонных коробках, водку в бутылках зеленого стекла, нательные крестики из латуни, джинсовые пары, плюшевого медведя, китайские термосы, развесные мандарины, флаконы поддельных духов «Опиум», печенье в пачках, олени рога, милицейскую фуражку, спагетти в прозрачных кульках, вибраторы на батарейках ААА, матрешки с мужскими лицами, глянцевые календари с возбужденным женским бюстом, вафли, вечерние туфли из ложного крокодила, детский крем, переходящий вымпел с золотой бахромой, тампаксы, расписное коромысло, зеленый пиджак якобы от Версаче, комплект хрустальных бокалов, банку сирийских сосисок и женские тапочки с помпонами; тут же темные юноши с сумрачным взглядом предлагали чейндж маней, хоть ря-

дом стоял обменный пункт; приземистые девчушки, коротконогие и низкопопые, лет тринадцати, с отечными мордашками олигофренок, звали за угол, обещая за несколько долларов саксофон и факи-факи; я сделался подобен иностранцу, который с недоумением вопрошает: где же огромный Древний Рим?

Между тем Рим лежал передо мною. По знакомым некогда, а нынче невымытым и облупленным стенам наляпаны были вывески по-латыни. Все пребывало, казалось, в плесени и патине — оскверненные давным-давно базилики и разрушающиеся палаццо. Сандуновские термы, которые, подобно Диоклетиановым, пытались отвести под музей, были в пролившихся точно с неба помоях. Я свернул на бульвар, занесенный самым разнообразным дешевым мусором: пустых стаканчиков из-под молочных коктейлей «Макдональдс», пачек из-под «Кэмел» и «Пегаса», использованных презервативов, обрывков коробок из-под «Хайнекен», жестянок из-под автомобильного масла, остовов рождественских елок и мишурой давно закончившегося карнавала, листков независимых газет, примерзших сям и там к ребристым поверхностям деревянных лавок с закругленными спинками, когда-то крашенных, а теперь будто облупленных толченой яичной пасхальной скорлупой. Миновав два театра — по левую и правую руки, — я вышел к памятнику, тому самому, что писает в дождь. И остановился в рассеянности. Я больше никуда не спешил, мог пойти направо, мимо церкви, где некогда венчался автор горацевого стиха; мог направиться прямо, в сторону обеих Гоголей; наконец, мог свернуть налево, где подстерегал революционный легионер,

сжимая в кулаке свой фаллос. Надо бы было встретить кого-нибудь из соотечественников, но я не мог припомнить — кого. Сотню раз я повторил про себя: ты — на родине. И это все, что я нашелся сказать себе самому, чтобы объяснить охватившие меня недоумение, восторг и предчувствие новой тоски.

Вкруг памятника двумя полудугами стояли каменные скамейки. Поддернув под себя полу американского пальто, я примостился на одной из них и закурил. Это был бульвар моего раннего детства, моей глупой юности, моей молодости. Если б не холодный апрельский ветер, я посидел бы здесь и дождался, пока зажгутся в сумерках фигурные стеклянные фонари. Я знал их копченый свет, когда он в полутьме уходящего дня достает лишь до тревожно колышущейся листвы ближайших июньских деревьев. Среди этой дрожащей теплой пахучей полутьмы много лет назад хорошо было искать горячую влажную руку сидящей рядом молодой женщины. Я вспомнил ее — с калмыцкими скулами, глубоко посаженными распутными глазами, с пухлыми светлыми губами и сильными дугами над бровями. Она была художницей, стриглась под мальчика, ее звали Софи. Во всяком случае, так она называла себя сама, но я подозревал, что это было производное от неизвестного мне татарского имени.

Мы были знакомы шапочно, но она давно мне нравилась издалека. Тогда, в июне, мы оказались за одним столиком в Доме актера и потом пришли вместе в ее мастерскую. Пили шампанское, она шаловливо выныривала из-под моих объятий, позвала посидеть вот

сюда, на бульвар. И здесь она уклонялась от поцелуев, говорила, что где-то рядом бродит ее сын.

Она была тревожна, и волнение ее мне казалось странно-чрезмерным. Понятно, в мастерской она могла опасаться его нежданного появления, но отчего нам нужно было усесться именно здесь, под фонарями, а не пройти дальше, в темень бульвара, уже полного поцелуев и вздохов. Кажется, она с нетерпением ждала его: что, она по-матерински беспокоилась за его бульварную судьбу? или боялась, что и под кронами черных кустов ее найдет его семнадцатилетняя сыновья ревность?.. И он пришел, ее сын, на две головы выше ее — она была малоросла и хрупка, — прыщавый оболтус, все время держащий слюнявый рот полуоткрытым. Мне он показался дебиллом, но она — она отодвинулась от меня, встrepенулась, вскочила на ноги, нежно к нему приникла, и они о чем-то пошептались неслышно. Он пошел своей дорогой, но вскоре и она покинула меня.

В другой раз я так же случайно оказался в ее мастерской среди подвыпившей компании случайных ресторанных гостей, что пришли к ней допивать после закрытия. Было шумно, пьяно, в толчее я потерял ее из виду, хоть и не бросил мысли за ней приударить. Тем более что в ресторане она была одна, без спутника. Ища ее по диванам, в углах, в прихожей, я оказался на крохотной кухне, откуда дверь вела в крохотную душевую, переоборудованную из кладовки. Оттуда доносились сладкие стоны и неразборчивый шепот, но я узнал ее голос. Мне хотелось увидеть соперника, опередившего меня, и я притаился. Скоро из каморки вывалился ее сын, пуская слюну. Я заглянул в приоткрытую дверь.

Она разглядывала себя в зеркале и была красива. Я увидел отражение ее лица. Ее волосы растрепались, а лицо покраснелось, лоснилось от испарины, глаза затянуло туманом. В зеркале наши взгляды встретились, она повернулась ко мне и резко захлопнула дверь. Позже я встречал ее несколько раз случайно — то в знакомом доме, то за буфетной стойкой, но потом потерял из виду. И никогда не вспоминал.

Теперь я поднялся и пошел в тот проулок напротив кинотеатра, где должен был стоять ее дом, уже тогда старый, не знавший ремонта и от этого пегий. Чтобы попасть в ее мастерскую, нужно было зайти со двора и пройти черным ходом. Во двор вела арка, в которой, как в каменном канале, стояла талая черная вода. Кое-как я перебрался через эту лужу и, показалось мне, в углу двора узнал нужную дверь. Теперь предстояло вскарабкаться темной лестницей на шестой этаж, под самую крышу, и я медленно стал подниматься по крошащимся под ногами ступеням, стараясь не опираться на готовые рухнуть раскачивающиеся перила. Если я не промахнулся, то лестница должна была привести прямо к мастерской Софи. Когда я уперся в стену, то чиркнул зажигалкой: все было верно, передо мной — та самая дверь, на которой и тогда было что-то намалевано масляной краской. Была слышна музыка. Я постучал. Раз и другой, потому что звонка не нашел. Потом ткнул кулаком по сильнее, дверь подалась, и какая-то полуодетая шлюха метнулась от меня прочь, как крыса. Отчетливо и душно пахло сладкой анашой. Сын Софи стоял передо мной, загораживая вход в мастерскую. Свет падал на меня, его фигура нарисовалась в контражуре, но и так было вид-

но, что из юнца он превратился в широкозадого, брюхом вперед мужика за тридцать. Он не узнавал меня, хоть пристально вглядывался, а я — не был переодет стариком-нищим.

— Вам кого?

— Софи.

— Нет ее.

Он оглянулся в комнату, его втиснутый назад подбородок ублюдка украшала теперь торчащая перьями борода. Толстый рот был, как прежде, слюняв.

— Когда она будет?

— Никогда, — был ответ.

— Послушай, — сказал я, — у меня для Софи кое-что есть из-за границы.

Он наклонил ко мне голову, потому что был выше меня, а мои слова, по-видимому, его заинтересовали.

— Давайте, — сказал он, — я передам.

Я сделал шаг вперед, и он отступил. Мастерская Софи выглядела, как наркоманский притон: кое-как валялись, похожие на человеческие, тела, тупо билась музыка, давешняя тварь сидела на том, что некогда было диваном, завернувшись в какое-то тряпье. У нее была одутловатая синюшно-бледная морда, как во время ломки.

— Значит, ты увидишь ее? — спросил я.

— Нет, — сказал он, — то есть — увижу. Она болеет.

Я вынул из кармана пачку сигарет, зажигалку и бумажку в десять долларов. Он тут же попытался взять у меня деньги, но я отвел руку.

— Где она?

— В больнице. Точнее — в санатории. Это за городом.

— У тебя есть адрес?

Что-то бормоча, он подошел к развороченному, с повисшей одной створкой буфету и стал там копаться, пока не обернулся ко мне, держа в руках клочок оберточной бумаги. Он дал его мне, я протянул купюру ему, а девке, которая смотрела на нас равнодушно, но не без осмысленности, бросил сигареты.

— Как туда проехать? — спросил я.

— Не знаю, — ухмыльнулся он, разглядывая деньги...

На Арбате я купил гроздь зеленых бананов и букет роз, довольно помятых, блеклых, но еще помнивших свой первоначальный, алый цвет. Пять или шесть таксистов отказались меня везти, но согласился водитель «вэна», хоть и поторговавшись. Когда мы выехали из города и оказались на шоссе, он сказал: «Только никакой это не санаторий, санатории все я знаю».

Километров через тридцать мы свернули с трассы, долго стояли на железнодорожном переезде, а километров через десять опять свернули на некогда заасфальтированный проселок. Вокруг были черные заброшенные поля, на которых грязными клиньями темнел нестаявший снег. Переползая из рытвины в рытвину, мы добрались до какой-то деревни. Шофер попытался свернуть маршрут, но все попадавшие на пути мужики были пьяны до неосмысленности. Наконец на краю поселка мы догнали немолодую женщину с довольно твердой походкой. Она согласилась подсказать дорогу в случае, если мы ее подвезем. Когда она взгромозди-

лась напротив меня, я почувствовал, как сильно и сдобно пахнет от ее ватной телогрейки навозом. Она разглядывала меня, скорее, даже не меня, а бананы и розы у меня на коленях.

— Разве матери это надо, — пробормотала, наконец, она, и я с трудом разобрал ее слова — зубов у нее во рту почти не было. Скоро она попросила остановиться и показала рукой: мол, так езжайте, до скотного, там свернете...

Через пару километров мы действительно увидели скотный двор — бревенчатые сараи с полусгнившими крышами из дранки, кучи развороченной черной земли в загонах из кривых сучковатых жердей. Дорога раздваивалась, мы повернули вправо, как велела женщина. Вскоре впереди завиднелись кирпичные руины. Перед фасадом здания, которое некогда, быть может, было усадьбой, одиноко стоял «Москвич» довольно ухоженного вида. Мы остановились тут же. Я вышел из машины. Окна заведения, на котором не было никакой вывески, кое-где были забиты фанерой. Там же, где стекла были целы, виднелись даже ситцевые цветастые занавески. За ними обнаружилось кое-какое движение, и вот уже из каждого окна на меня смотрели женские лица. Наконец на крыльце показался мужик в ватнике и сапогах, по щиколотку перепачканных глиной.

— Вам кого, — спросил он вполне равнодушно.

Я объяснил.

— Художницу, что ль? Она ж неходячая.

Я предложил пройти к ней сам.

— Нет, у нас прием субботний.

Я достал деньги.

— Ну, тогда привезу, — сказал он.

В окнах был переполох. Женщины, среди лиц которых мелькали и не очень старые, отталкивали одна другую и тыкали в меня пальцами. Некоторые, заметил я с удивлением, вытирали слезы. Время шло, мой шофер вылез из «вэна» и принялся ожесточенно стучать носком ботинка по скатам, иногда демонстративно поглядывая на часы. Наконец дверь приоткрылась. Давешний мужик, придерживая дверь задом, пытался вынести или вытащить из нее что-то. Наконец ему удалось протолкнуть предмет через порог, я увидел высокую спинку инвалидной коляски. Мужик вывез коляску на крыльцо, развернул, в ней сидела седая, с бескровным лицом женщина, неподвижные ноги которой были прикрыты грязным байковым одеялом, на плечи ее была накинута кофта, а косынка, повязанная узлом под подбородком, сползла на затылок. Это была Софи. Она смотрела на меня почти со страхом, не узнавая, как не узнал меня и ее сын. Но вот что-то шевельнулось в ее лице, и она прикрыла рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Я подошел, подал ей бананы и цветы, положил руку на спинку ее катящегося кресла. Она заплакала, но это не помешало ей оглянуться на окна и не без высокомерия посмотреть на товарок. Потом она картинно и царственно повела рукой, как бы отстраняя мужика.

— Только чтоб быстренько, — шепнул он, передавая мне управление.

Я покатил коляску, куда указывала Софи, — за угол дома. Она освоилась, смахнула слезу и выпрямила спину. Одной рукой она сжимала банановую гроздь, другой поднесла к лицу увядающие розы. Но когда мы ушли из

поля зрения обитательниц этого грустного места, она сделала знак остановиться. Я посмотрел ей в лицо.

— Отчего ты так смотришь? — спросила она тревожно, — что — я очень изменилась?

Это было не очень точное слово — изменилась. От нее не осталось ничего. Она была страшно худа, не ухожена, и особая синева на висках, особый рисунок впалых щек, чернота у глаз говорили, что, скорее всего, она скоро умрет.

— Нет, ты красива, как прежде, — сказал я, заставляя себя улыбнуться ей.

Она протянула мне руку, уронив букет на колени, но неловко, и розы посыпались на землю. Я взял ее пальцы, и она сунула мою ладонь себе под кофту. Она заставила меня сжать свою съёженную мягкую грудь, и мне пришлось наклониться к ней. От нее пахло сладкими, как подгнившая солома, как будто лежалыми духами. Она смотрела на меня очень прямо, не мигая, напряженно чего-то ждала, и татарские ее глаза были, как у святой. У нее на шее я заметил дешевый золоченый крестик.

Вдруг я почувствовал, что по моим пальцам течет какая-то влага. Я невольно отдернул руку и увидел, что вся моя ладонь была в липком женском молоке. Она опять победно и высокомерно улыбнулась. И произнесла с неожиданной твердостью: «Поцелуй меня». С содроганием я дотронулся губами до ее бесцветных высохших губ, и она с неожиданной силой правой рукой притянула меня к себе. Я успел увидеть, как ногти левой впились в зеленую кожуру бананов. С усилием оторвавшись от нее, я нагнулся, чтобы со-

брать цветы. Когда я распрямился, она сидела, откинувшись, прикрыв глаза. Было слышно, как мой водитель жмет на клаксон.

— Софи, — тихо позвал я, — Софи? Где ты?

август 1991 — март 1994

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--------------------------------------|-----|
| глава I..... | 3 |
| ОСТРОВ СВОБОДЫ..... | 3 |
| глава II..... | 19 |
| БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА..... | 19 |
| глава III..... | 33 |
| ЧЕШСКАЯ ВЕСНА..... | 33 |
| глава IV..... | 42 |
| ТИХИЙ БЛЮЗ..... | 42 |
| глава V..... | 52 |
| ДЖАПАН..... | 52 |
| глава VI..... | 68 |
| ВИОЛА..... | 68 |
| глава VII..... | 84 |
| ГУЛЯ..... | 84 |
| глава VIII..... | 123 |
| ПРИБЛИЖЕНИЕ В ХОРОВОДЕ..... | 123 |
| глава IX..... | 151 |
| ФОНТАН И АННА..... | 151 |
| глава X..... | 171 |
| ДЕВОЧКИ НА ОБРАТНОМ ПУТИ..... | 171 |
| глава XI..... | 189 |
| НАВИГАЦИЯ В ФИОРДЕ..... | 189 |
| глава XII..... | 211 |
| КСЕНИЯ..... | 211 |
| глава XIII..... | 225 |
| ПОТЕМКИ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ИХТИОЛОГИИ..... | 225 |
| глава XIV..... | 239 |
| ПОЛНОЛУНИЕ НА ХЭЛЛОУИН..... | 239 |
| глава XV..... | 248 |
| ТАКОЙ ФЛОРИДЫ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ..... | 248 |
| глава XVI..... | 267 |
| НА ПАРИЖ..... | 267 |
| глава XVII..... | 274 |
| ВОЗВРАЩЕНИЕ В РИМ..... | 274 |